

710 11036
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ГЕРБЕРТ ДЖ. УЭЛЛС

**РАССКАЗЫ
О ВРЕМЕНИ
и
ПРОСТРАНСТВЕ**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АНГЛИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА

HERBERT WELLS

РОД. 1866

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛБ11 1036

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРБЕРТ ДЖ. УЭЛЛС

РАССКАЗЫ О ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ

ПЕРЕВОД Н. КРАНИХФЕЛЬД,
В. Г. ТАНА и А. Н. АННЕНСКОЙ
ПОД РЕД. Е. И. ЗАМЯТИНА

22411

МОСКВА — МСМХХІІІ — ПЕТРОГРАД

ТИПОГРАФИЯ
Петроградского Губернского Отдела Труда
Моховая, 8.



915150 ✓

**РАССКАЗЫ О ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ**

TALES OF SPACE AND TIME

1899

ХРУСТАЛЬНОЕ ЯЙЦО
THE CRYSTAL EGG

С год тому назад вблизи „Семи Циферблатов“, находилась маленькая, выглядевшая очень грязно лавочка, над которой смывыми непогодой желтыми буквами было написано: „К. Кэйв, естествоиспытатель и продавец древностей“. В окне этой лавочки было выставлено множество разнообразных вещей: несколько слоновых клыков и разрозненные шахматы, четки и оружие, ящик с глазами, два черепа тигра и один человеческий, несколько изъеденных молью обезьяньих чучел (одно из них держало лампу), старинный комод, засиженное мухами страусовое яйцо—или что-то в этом роде, рыболовные принадлежности и необыкновенно грязный, пустой, стеклянный аквариум. В то время, когда начинается эта история, там еще находился кусок хрусталя, обделанный в форме яйца и прекрасно отполированный. На этот-то кусок хрусталя и смотрели два господина, стоявшие перед окном; один из них был высокий, худощавый пастор, другой—смуглый чернобородый молодой человек, скромно одетый. Смуглый молодой человек говорил энергично жестикулируя и, казалось, очень желал, чтобы его спутник купил эту вещь.

В то время, как они стояли здесь, в лавку пришел мистер Кэйв; мистер Кэйв только что пил чай и еще дожевывал хлеб с маслом. Когда он увидел этих людей и предмет их наблюдения, настроение у него сразу испортилось. Он виновато оглянулся и тихонько закрыл дверь. Это был маленький старый человек с бледным лицом и странными водянистыми голубыми глазами; волосы у него были грязно-серого цвета, на нем был поношенный синий сюртук, старинного фасона цилиндр, на ногах—стоптанные ковриковые туфли. Он выжидательно смотрел на двух говоривших между собой покупателей. Пастор полез в карман брюк, ощупал там пригоршню денег и показал зубы, приятно улынувшись. Мистер Кэйв казался еще более подавленным, когда они вошли в лавку.

Пастор без церемонии спросил цену хрустального яйца. Мистер Кэйв нервно посмотрел на дверь, ведущую в гостиную, и сказал, что цена яйца — пять фунтов. Пастор, обращаясь и к своему спутнику, и к мистеру Кэйву, запротестовал против слишком высокой цены (это было, действительно, гораздо больше, чем имел намерение спросить мистер Кэйв, когда выставлял этот предмет) и попробовал торговаться. Мистер Кэйв подошел к двери лавки и открыл ее. — «Цена пять фунтов», — сказал он, как будто бы желая избавить себя от лишнего бесцельного спора. При этих его словах над решеткой верхней стеклянной части двери, ведущей в гостиную, появилась верхняя часть женского лица и с любопытством посмотрела на двух покупателей. — «Цена пять фунтов», — сказал с дрожью в голосе мистер Кэйв.

Смуглый молодой человек, остававшийся до сих пор зрителем, внимательно наблюдал за Кэйвом. Теперь он заговорил. — «Дайте ему пять фунтов», — сказал он. Пастор посмотрел на него, чтобы убедиться, говорит ли он это в серьез; затем снова взглянул на мистера Кэйва — и увидел, что Кэйв был бледен. — «Это — целая куча денег», — сказал пастор и, порывшись в кармане, начал считать деньги. У него оказалось немногим больше тридцати шиллингов, и он обратился за помощью к своему спутнику, с которым, казалось, был в самой близкой дружбе. Это дало мистеру Кэйву возможность собраться с мыслями, и он начал объяснять очень возбужденно, что собственно он не в праве продать хрусталь. Оба покупателя, естественно, очень удивились и спросили мистера Кэйва, почему он не подумал об этом прежде, чем начал торговаться. Мистер Кэйв сконфузился, но настаивал на том, что сегодня вечером он не имел в виду продавать хрусталь, что предполагаемый покупатель хрустального яйца уже приходил. Оба, считая это попыткой еще больше повысить цену, сделали вид, что хотят уйти, но в это зремя дверь отворилась и появилась обладательница черной челки и маленьких глаз.

Это была полная женщина с грубыми чертами лица; она была моложе мистера Кэйва и гораздо выше его ростом. Вошла она медленными, тяжелыми шагами; щеки у нее горели. «Хрусталь продается» — сказала она. — «И пять фунтов достаточно хорошая цена. Я не могу понять почему вы, Кэйв, не соглашаетесь на предложение этих господ?»

Мистер Кэйв, очень разгневанный этим вмешательством, посмотрел на нее сердито поверх своих очков и стал, впрочем без особенной уверенности, защищать свое право вести свои дела по собственному усмотрению. Начались пререкания.

Оба покупателя наблюдали эту сцену с интересом и забавлялись, поддерживая по временам миссис Кэйв своими поддакиваниями. Вплотную осажденный мистер Кэйв отстаивал свою запутанную и невероятную историю все о том же: будто нынче утром уже был покупатель на хрусталь, — и волнение мистера Кэйва, явно, становилось мучительным. Но он с необыкновенным упорством продолжал стоять на своем. Молодой человек восточного вида положил конец этому странному спору. Он заявил, что они снова зайдут через два дня и таким образом дадут преимущество покупателю, на которого ссылался мистер Кэйв.

— Но тогда мы уже будем настаивать, — сказал пастор. — Пять фунтов.

Миссис Кэйв стала оправдывать своего мужа, объясняя, что он иногда бывает «немножко странным» и, когда оба покупателя удалились, супружеская чета приготовилась свободно и всесторонне обсуждать происшедшее.

Миссис Кэйв резко нападала на мужа. Бедный маленький человек, дрожа от волнения, сам запутавшись в своих противоречиях, настаивал, что с одной стороны он имеет в виду другого покупателя, а с другой — хрусталь, откровенно говоря, стоит десять гиней.

— Почему же ты спросил лишь пять фунтов, — спросила его жена.

— Предоставьте мне вести мои дела по собственному усмотрению, — сказал мистер Кэйв.

Мистер Кэйв жил с падчерицей и пасынком, и вечером за ужином происшествие снова подверглось обсуждению. Никто из сидевших за ужином не был высокого мнения о деловых способностях мистера Кэйва, но последний его поступок казался уж прямо верхом безумия.

— По моему мнению, он уже и раньше отказывался продать этот хрусталь, — сказал пасынок, развязный верзила лет восемнадцати.

— Но *пять фунтов!* — возразила падчерица, положительная молодая особа двадцати шести лет.

Ответы мистера Кэйва были жалки: он лишь робко бормотал, что это его дело и больше ничье. Посреди ужина — мистера Кэйва прогнали в лавку — запереть двери на ночь; уши у мистера Кэйва горели и слезы досады застилали его очки. — «Зачем он так долго оставлял хрусталь на окне? Какое безумие!» Вот что беспокоило его. Некоторое время ему казалось уже невозможным избежать продажи хрусталя.

После ужина падчерица мистера Кэйва и его пасынок разошлись и ушли, а жена поднялась наверх, чтобы попивая

горячую воду с сахаром, лимоном и еще кое-чем—поразмышлять насчет истории с хрусталем. Мистер Кэйв ушел в лавку и оставался там довольно долго, Мистер Кэйв делал вид, что он очень занят тем, что украшает камешками ящики для золотых рыбок, но на самом деле был поглощен чем-то другим, о чем будет речь впереди. На следующий день миссис Кэйв увидела, что хрусталь уже убран с окна и лежит позади связки подержанных книг, трактующих насчет рыболовства. Миссис Кэйв переложила хрусталь на более видное место. Много разговаривать об этом она не стала, так как у нее была сильная головная боль. А мистер Кэйв всегда готов был уклониться от разговоров. День прошел неприятно. Мистер Кэйв был более, чем всегда рассеян и вместе с тем необыкновенно раздражителен. После обеда, когда его жена по обыкновению легла спать, он снова убрал хрусталь с окна.

На следующий день мистер Кэйв вышел, чтобы отнести акулу в одну из госпитальных школ, где акула была нужна для вскрытия. В его отсутствие мысли миссис Кэйв снова вернулись к хрусталу и к тому, как приличным образом потратить свалившиеся с неба пять фунтов. Она уже распределила их мысленно самым приятным образом: тут была и покупка для нее самой зеленого шелкового платья, и поездка в Ричмонд. Вдруг звон колокольчика у входной двери призвал ее в лавку. Покупатель, один из лаборантов школы, пришел жаловаться на то, что несколько лягушек, заказанных еще на вчера—не доставлены до сих пор. Миссис Кэйв не одобряла этой особенной отрасли дела мистера Кэйва, и джентельмэн, говоривший в несколько повышенном настроении, удалился после короткого разговора настолько вежливого, насколько позволяло раздраженное состояние джентельмена. Глаза миссис Кэйв естественным образом обратились к окну: вид хрусталя должен был подтвердить получение пяти фунтов и связанные с ними мечты. Но к ее удивлению, хрусталя там не было.

Она подошла к тому месту за прилавком, где нашла хрусталь накануне, но и там его не было. Она принялась немедленно за усердные поиски по всей лавке.

Отнеся акулу, мистер Кэйв вернулся домой примерно без четверти три. Дома он увидел, что в лавке какой-то беспорядок, а жену нашел в полном отчаянии: она стояла на коленях за прилавком и рылась в материалах для набивки чучел. Когда дребезжание колокольчика известило о возвращении мистера Кэйва, разгоряченное и опечаленное лицо

его жены появилось над прилавком и она сразу стала обвинять мужа в том, что он „это спрятал“.

— Что „это“?—спросил мистер Кэйв.

— Хрусталь.

Вместо ответа мистер Кэйв, повидимому очень удивленный, бросился к окну.

— Его нет здесь!—сказал он.—Великий боже! Что с ним сделалось?

В это самое время, громко ругаясь, вошел в лавку из внутренней комнаты пасынок мистера Кэйва; он вернулся домой на несколько минут раньше мистера Кэйва. Он был в учении у торговца подержанной мебелью в конце улицы, но обедал дома и был, конечно, раздосадован, что обед еще не готов.

Но услышав об исчезновении хрусталя, он забыл и про обед, и гнев его с матери обратился на отчима. Конечно, их первой мыслью было, что мистер Кэйв запрятал хрусталь. Но мистер Кэйв энергично отрицал, что знает что-нибудь о судьбе хрусталя. Свои клятвенные уверения он закончил тем, что сам стал обвинять сперва жену, а затем пасынка: „это они спрятали хрусталь и сами хотят тайком продать его.“ Начался чрезвычайно язвительный и волнующий спор, кончившийся у миссис Кэйв особенным нервным состоянием, средним между истерикой и обмороком, что заставило пасынка вернуться после обеда в мебельный склад на полчаса позже, а мистера Кэйва—искать убежище от припадков жены в лавке.

Вечером спор возобновился, но уже с меньшей страстностью, и теперь это больше походило на судебное разбирательство под председательством падчерицы. Ужин прошел невесело и закончился тяжелой сценой. Мистер Кэйв дошел в конце концов до крайнего отчаяния и ушел, громко хлопнув дверью. Остальные члены семьи воспользовавшись отсутствием хозяина, уже не стесняясь посудачили на его счет и затем обыскали весь дом с чердака до погреба, надеясь случайно наткнуться на хрусталь.

На следующий день оба покупателя снова зашли. Миссис Кэйв приняла их почти в слезах. Оказалось, что никто не мог и представить себе, сколько она вытерпела от Кэйва за все время ее супружеских мытарств. Она передала также в собственном освещении историю исчезновения хрусталя. Пастор и молодой человек восточного вида—молчаливо улыбнулись друг другу и сказали, что все это очень странно. Казалось, что миссис Кэйв готовилась рассказать им историю всей своей жизни,—и поэтому они стали собираться уходить.

из лавки. Тогда миссис Кэйв, цепляясь за слабую надежду, спросила у пастора его адрес, чтобы в случае, если она добьется чего-нибудь от Кэйва, можно было известить пастора. Был дан точный адрес, но очевидно затем этот адрес был утерян. Миссис Кэйв никак не могла вспомнить его.

Вечером этого дня Кэйвы, казалось, исчерпали все свои душевные волнения и мистер Кэйв, уходящий из дому после обеда, ужинал в печальном одиночестве, приятно непохожем на страстные споры предшествующих дней. За последнее время дела дурно складывались в доме Кэйва; ни хрусталь, ни покупатели не появлялись.

Теперь, чтобы не искажать фактов, мы должны признать, что мистер Кэйв был лгуном: он прекрасно знал, где был хрусталь. Хрусталь был в квартире мистера Джэкоби Уэйса, ассистента-демонстратора в госпитале св. Екатерины на Уэстбэрн-стрит. Хрусталь стоял на буфете, полуприкрытый черной бархатной материей, рядом с графином американского виски. От этого мистера Уэйса и были получены данные, на основании которых написан настоящий рассказ. Кэйв принес в госпиталь яйцо, спрятав его в мешке с акулой,—принес и настойчиво просил молодого исследователя хранить у себя этот хрусталь. Мистер Уэйс сначала не решился. У него были особенные отношения с Кэйвом: ему нравились странные характеры, и он не раз приглашал старика к себе в комнату покурить, выпить и высказать свои несколько забавные взгляды на жизнь вообще и на свою жену в частности.

Мистеру Уэйсу случалось иметь дело с миссис Кэйв, когда в отсутствие мистера Кэйва, он поджидал его возвращения. Уэйс знал о постоянных нападениях, которым подвергался Кэйв, и вот, обсудив юридически происшедшее, Уэйс решил принять хрусталь на хранение. Мистер Кэйв обещал впоследствии объяснить более подробно свою странную привязанность к хрусталу, но он определенно говорил о том, что видел в хрустале видения... Он рассказал об этом в тот же вечер мистеру Уэйсу.

Кэйв рассказал очень запутанную историю. Он сообщил, что приобрел хрусталь вместе с разными другими вещами на аукционе имущества другого торговца редкостями. Какая цена этому хрустальному яйцу—мистер Кэйв не знал, и неудачу назначил десять шиллингов. За эту цену хрусталь и попал к нему в руки несколько месяцев тому назад, и Кэйв уже подумывал, как бы „вернуть свои денежки“, как вдруг сделал странное открытие.

В то время мистер Кэйв чувствовал себя очень плохо: надо помнить, что ко времени описываемых событий—здоровье его порядком расстроилось, и вдобавок он испытывал большие страдания из-за пренебрежительного, и даже прямо-таки плохого отношения со стороны жены и ее детей. Его жена была пустая, сумасбродная, бесчувственная женщина и имела все растущую склонность к тайному употреблению спиртных напитков: падчерица его была злая и заносчивая, а пасынок возымел к нему страшную нелюбовь и не упускал случая проявлять это чувство. Неприятности, связанные с делом, тяжело ложились на Кэйва, и мистер Уэйс думает, что Кэйву случалось иной раз грешить по части спиртного. Кэйв начал свою жизнь при очень благоприятных условиях, получил прекрасное воспитание и страдал иногда по целым неделям от меланхолии и бессонницы. Когда ночью от разных мыслей ему становилось невмочь, он покидал свое место на постели рядом с женой, делая это тихонько, чтобы никого не разбудить, и затем бродил по дому. Однажды около трех часов утра в конце августа случай направил его в лавку.

Грязное маленькое помещение было непроницаемо-темно, за исключением одного места, где Кэйв заметил какой-то необыкновенный яркий свет. Подойдя ближе, он увидел, что это было хрустальное яйцо, стоявшее на углу прилавка возле окна. Тонкий луч света, пробивавшийся сквозь щель в ставнях, ударялся о яйцо и, казалось, наполнял всю его внутренность.

Мистеру Кэйву пришло в голову, что это не согласуется с теми законами оптики, с какими он был знаком в дни своей молодости. Он понял бы, если бы лучи, преломившись в хрустале, соединились в фокусе внутри его, но это рассеяние света не согласовалось с его понятиями о физике. Кэйв подошел поближе к хрусталу, внимательно рассматривая его внутри и снаружи: на время в Кэйве возродилась та научная любознательность, которая в молодости определила выбор его призвания. Он был удивлен, когда убедился, что свет этот не был постоянным, но переходил по всему яйцу как будто оно было полым шаром из какого-то блестящего пара. Двигая яйцо, чтобы рассмотреть его со всех сторон Кэйв вдруг заметил, что он заслонил собою яйцо от светового луча, но хрусталь от этого не стал меньше блестеть. Сильно удивленный, Кэйв взял хрустальное яйцо и перенес его подальше от луча—в самую темную часть лавки. Яйцо светилось еще в продолжение четырех или пяти минут, затем стало медленно блекнуть и погасло. Кэйв поместил его в полосу дневного света—и его сияние почти немедленно восстановилось.

До сих пор, по крайней мере, мистер Уэйс был в состоянии проверить замечательную историю мистера Кэйва. Он сам неоднократно держал яйцо перед световым лучом, диаметр которого был меньше одного миллиметра, и после этого в совершенной темноте—насколько можно было добиться темноты помощью бархатной крышки,—хрусталь казался несомненно светящимся, как фосфор, хотя свет этот и был очень слабый. Однако казалось, что яркость этого света была какого-то особенного рода, и глаза различных людей неодинаково воспринимали ее: так мистер Харбингер, имя которого известно каждому образованному читателю в связи с Пастеровским институтом, был совершенно не способен видеть какой-бы то ни было свет. А способность мистера Уэйса была сравнительно ниже способности мистера Кэйва. И у Кэйва эта способность сильно менялась: в периоды особенной его слабости и утомления—он видел ярче.

С самого начала этот свет в хрустале как-то странно очаровал мистера Кэйва: он больше говорил его одинокой душе, чем мог бы сказать какой-нибудь том патетических писаний. О своих любопытных наблюдениях мистер Кэйв не говорил ни одному человеческому существу. Кэйв жил в атмосфере мелкой злобы, и для него признался, что то или другое доставляет ему удовольствие—значило рисковать, что он лишится этого удовольствия. Кэйв заметил, что с приближением утра и с увеличением яркости рассеянного света, вся поверхность хрусталя теряла свой блеск. Некоторое время Кэйв мог видеть что-нибудь в хрустале только ночью, в темном углу лавки.

Но ему пришлось в голову воспользоваться старой бархатной крышкой, которую он употреблял на подстилку под коллекцию минералов: сложив эту крышку вдвое и покрыв ею голову и руки, Кэйв мог уловить светящееся движение внутри хрусталя даже днем. Он очень опасался, чтобы об этом не узнала его жена, и потому он предавался этому занятию только в послеобеденное время, когда жена спала наверху, да и тут из предосторожности прятался в темном углу за прилавком. Однажды, поворачивая хрусталь в руках, Кэйв что-то в нем заметил: вспыхнуло и исчезло нечто в роде молнии, но у Кэйва осталось впечатление, что в яйце на минуту открылось перед ним зрелище обширной, далеко раскинувшейся, чудесной страны; повернув яйцо еще раз, Кэйв опять закрылся от света, и снова увидел то же самое, что и раньше.

Было бы скучно и бесполезно рассказывать о всех фазах открытия мистера Кэйва. Достаточно сказать, что результат

был таков: хрусталь, рассматриваемый под углом около 137° по направлению к лучу света, давал ясную, последовательную картину обширной странной местности; картина эта отнюдь не была похожа на сон, а производила определенное впечатление действительности и чем ярче был свет, тем реальнее и яснее она казалась. Это была движущаяся картина, то-есть некоторые предметы двигались в ней, но медленно, определенно, как подлинные, реальные предметы, при чем в соответствии с изменением направления светового луча и угла зрения—менялась также и картина. Это на самом деле должно было быть похоже на то, что получается при рассматривании через овальное стекло: повертывая стекло, можно получить различные виды.

Мистер Уэйс уверял меня, что рассказ мистера Кэйва был очень подробен и что никакого возбуждения, которое обыкновенно наблюдается у галлюцинирующих—у Кэйва не замечалось. Нужно упомянуть о том, что все попытки самого Уэйса разглядеть ясную картину в бледном опаловом блеске хрусталя—были совершенно безуспешны, несмотря на все его старания. Разница в силе впечатлений, получаемых этими двумя людьми была очень велика и вполне понятно, что то, что для мистера Кэйва представлялось целой картиной, было лишь туманным пятном для мистера Уэйса.

Пейзаж, по описанию мистера Кэйва, неизменно представлял собою обширную равнину и Кэйву всегда казалось, что он смотрит на эту равнину с значительной высоты, как будто с башни или мачты. На восток и на запад равнина была ограничена тянувшимися на далекое расстояние громадными красноватыми скалами, напоминавшими Кэйву скалы, виденные им на какой-то картине; но что это была за картина—мистер Уэйс не мог установить. Эти скалы шли на север и на юг (Кэйв мог определить страны горизонта по звездам, некоторые были видны ночью), уходя в почти безграничную перспективу и еще до пересечения теряясь в туманных далах. Кэйв был ближе к восточной цепи утесов; в первом его видении—солнце восходило как раз над утесами, и мистер Кэйв видел множество летающих фигур; фигуры эти были темные в сравнении с солнечным светом и бледные в сравнении с их тенью; мистер Кэйв принял эти фигуры за птиц. Длинный ряд зданий лежал внизу; ему казалось, что он смотрит на них сверху; при приближении к темному краю картины, где лучи света уже преломлялись, эти здания становились неясными. Возле сверкающего широкого канала—были деревья, странные по форме и окраске: темно-зеленого цвета—как мох, и изящного серого цвета. Что-то

большое и блестяще окрашенное пролетало через всю картину. Но в первое время, когда мистер Кэйв видел эти картины, он их видел только во время вспышек света; руки у него дрожали, голова тряслась, видение появлялось и исчезало, становилось туманным и неясным. И в первое время для него представляло величайшую трудность найти снова то положение картины, в котором он ее потерял из виду.

Следующий раз он ясно увидел картину в хрустале через неделю после первого случая, при чем промежуток между ними не дал ничего, кроме нескольких мучительно-неясных проблесков и некоторого полезного опыта; второе видение показало Кэйву вид вдоль долины. Вид был другой, но у Кэйва была странная уверенность, неоднократно подтвержденная последующими наблюдениями, что он все время видел этот странный мир с одного и того же места, хотя он пытался смотреть в хрусталь с разных сторон. Длинный фасад большого здания, крышу которого он видел прямо под собой, теперь виднелся в перспективе. Мистер Кэйв узнал крышу. Перед фасадом находилась терраса массивных размеров и необыкновенной длины; внизу, у середины террасы, расставленные на определенных промежутках, высились огромные, но очень изящные мачты; на верхушках мачт были прикреплены маленькие блестящие предметы, сиявшие как заходящее солнце. О значении этих маленьких предметов мистер Кэйв догадался только спустя некоторое время, когда он описывал эту сцену мистеру Уэйсу. Терраса нависала над густыми зарослями какой-то роскошной, красивой растительности, а дальше — простиралась обширная, поросшая травой лужайка, на которой отдыхали какие-то приземистые существа, по форме похожие на жуков, но неизмеримо большого размера. За лужайкой пролегла дорога, богато украшенная разноцветными камнями, а еще дальше, окаймленная густой красной травой, расстилалась широкая зеркальная поверхность воды, проходя через долину как раз параллельно отдаленным утесам. Весь воздух, казалось, был наполнен стаями больших птиц, двигавшихся по величественным кривым. По ту сторону реки высилось множество великолепных зданий; здания были красиво раскрашены и сверкали металлической резьбой и гранями среди леса похожих на мхи и лишайники деревьев. И вдруг что-то несколько раз промелькнуло через картину, — это походило на мельканье украшенного драгоценностями веера или взмахи крыла, — и тотчас же появилось лицо, или вернее верхняя часть лица с очень большими глазами; было так, как будто это лицо придвинулось к лицу мистера Кэйва или находилось по ту сторону хрусталя. Мистер Кэйв был

так напуган впечатлением полной реальности этих глаз, что отодвинул свою голову от хрусталя, чтоб посмотреть: нет ли чего позади хрусталя. Мистер Кэйв настолько увлекся наблюдениями, что для него было прямо-таки неожиданностью очутиться опять в холодной темноте маленькой лавочки с ее привычным запахом метила, плесени и гниения. Пока он глядел вокруг себя, сиявший хрусталь стал уже гаснуть и скоро совсем погас.

Таковы были первые общие впечатления мистера Кэйва. Вся история его видений в высшей степени точна и подробна. С самого начала, когда долина впервые на секунду блеснула перед ним и поразила его, — с самого начала его воображение было странно взволновано; в дальнейшем, когда он стал обдумывать подробности виденной им сцены, его удивление перешло в страсть. Он стал невнимательно и рассеяно заниматься своими делами, думая только о том времени, когда он сможет опять вернуться к своим наблюдениям. И вот тут-то, — это было через несколько недель после первого видения, — явились два покупателя, настойчиво желавшие купить хрусталь, и только с трудом удалось спасти хрусталь от продажи, как я уже рассказывал.

Теперь это стало тайной мистера Кэйва; по сию пору непонятно, каким чудом ему удалось утащить тайком хрусталь, но это все же удалось, и мистер Кэйв украдкой заходил поглядеть на него; — так ребенок украдкой забегает в сад, куда ему запретили ходить. Но мистер Уэйс, как и подобает молодому ученому, имел особенно ясный и последовательный склад ума. Хрусталь и его история непосредственно задела Уэйса; сам он удовлетворился, увидев собственными глазами свечение хрусталя, но решил исследовать систематически то, что было действительно правдоподобно в утверждениях мистера Кэйва. Тут было только одно: мистер Кэйв слишком уж пристрастился приходить и тешить свои глаза зрелищем чудесной страны, и приходил он каждый вечер от восьми до половины десятого, а иногда, в отсутствие мистера Уэйса, и днем; он приходил даже по субботам, после обеда. С самого начала мистер Уэйс делал тщательные заметки и именно его научному методу обязаны мы тем, что было установлено соотношение между направлением, по которому первичный луч входил в хрусталь, и всей виденной Кэйвом картиной. Поместивши хрусталь в ящик с просверленным небольшим отверстием для пропуска возбуждающего луча и применив голландскую сажу в качестве непроницаемой для света преграды — мистер Уэйс значительно улучшил условия наблюдений; таким образом получилась возможность в течение ко-

роткого промежутка времени обозреть долину в желаемом направлении.

Расчистив таким образом путь, мы можем дать краткий отчет об этом призрачном мире внутри хрустала. Описанные предметы были видимы для мистера Кэйва при всех условиях, а метод действия был всегда неизменен: Кэйв наблюдал хрусталь и говорил о том, что видел, а мистер Уэйс (который еще студентом научился этой премудрости — писать в темноте) кратко записывал его показания. Когда хрусталь потухал, его вынимали из ящика, ставили на прежнее место и вновь зажигали электрический свет. Мистер Уэйс спрашивал, и в затруднительных случаях эти наводящие вопросы помогали выяснить дело. Ничего не могло быть менее призрачно и более реально, чем все это.

Внимание мистера Кэйва скоро сосредоточилось на птицеподобных существах; много этих птицеподобных существ он видел в каждом из своих прежних видений. Первое впечатление мистера Кэйва вскоре изменилось. Долгое время он считал, что эти существа могут представлять из себя дневную породу летучей мыши. После он стал думать, — смешно сказать, — что это могут быть херувимы. У них были круглые, странно похожие на человеческие, головы, и это именно глаза одного из них, так поразили Кэйва во время второго наблюдения. У них были широкие, серебристые крылья, непокрытые перьями, но блестящие, как чешуя только что вытасенной из воды рыбы и с тою же тонкой игрой красок; эти крылья не были построены на подобие крыльев летучих мышей, или птиц, но, как узнал от Кэйва мистер Уэйс, крылья эти, поддерживаемые изогнутыми ребрами, исходили прямо из тела. (Если представить себе крылья бабочки с изогнутыми ребрами, то это, пожалуй, даст самое близкое представление о крыльях этих существ). Тело было мало, и снабжено двумя пучками хватающих органов, подобных длинным щупальцам; щупальцы эти помещались непосредственно подортом. Как это ни казалось невероятным мистеру Уэйсу, он, в конце концов, несомненно убедился, что именно этим существам принадлежали большие, будто человеческие постройки и прекрасный сад, придававшие такой великолепный вид обширной долине. А мистер Кэйв в числе других особенностей отметил, что в зданиях, которые он видел в хрустале, не было дверей, но были большие, круглые, настезь открытые окна, служившие входом и выходом для крылатых существ. Они входили в них помощью своих щупальцев, складывали свои крылья до величины небольшой палочки и прыгали внутри. Но среди них было еще множество более

мелко-крылых существ, подобных большим стрекозам, мошкам и летающим жукам, а по лужайке — тоже ползали лениво взад и вперед блестяще окрашенные гигантские земляные жуки. Сверх того, на шоссе и террасе виднелись какие-то большеголовые существа, похожие на больших мух, но бескрылые; эти существа деловито ковыляли на своих рукоподобных щупальцах.

Мы уже упоминали о блестящих предметах на мачтах, стоявших перед террасой ближайшего здания. Мистеру Кэйву, после очень внимательного рассмотрения одной из этих мачт, в один особенно яркий день, показалось, что блестящий предмет был совершенно такой же хрусталь, как тот, в который он вглядывался. Еще более внимательное наблюдение убедило его в том, что на каждой из видневшихся в перспективе двадцати мачт находился подобный же предмет.

Случайно одно из больших крылатых существ вспорхнуло на одну из мачт, сложило свои крылья и, схватившись частью своих щупальцев за мачту, пристально стало смотреть на хрусталь в течение по крайней мере пятнадцати минут. Целый ряд наблюдений, сделанных по предложению мистера Уэйса, убедил обоих наблюдателей, что поскольку дело касается этого призрачного мира, хрусталь, в который оба они всматривались в данный момент, — стоял на верхушке самой отдаленной мачты террасы, и что однажды один из жителей этого иного мира заглянул в лицо мистеру Кэйву, когда он производил свои наблюдения.

Вот каковы существенные факты этой очень странной истории. Если и считать все остроумной выдумкой мистера Уэйса, придется все же признать одно из двух: либо хрусталь мистера Кэйва существовал одновременно в двух мирах и когда этот хрусталь перемещали в одном мире — он все же оставался неподвижным в другом, что кажется совершенно нелепым; или же существует какая-то особенная связь хрустала мистера Кэйва с другим, совершенно подобным же хрусталем в том, ином мире, и то, что видно внутри одного хрустала в этом мире, при соответствующих условиях видно и наблюдателю соответствующего хрустала в другом мире; и наоборот.

Пока, конечно, мы не знаем, каким образом оба хрустала связаны между собой, но в настоящее время мы знаем достаточно, чтобы понять, что такая вещь совершенно невозможна. Это мнение о хрусталях, находящихся в какой-то связи один с другим — было предположением, пришедшим в голову мистеру Уэйсу, и мне это предположение кажется, по меньшей мере, весьма вероятным.

Но где был этот другой мир? И на это живой ум мистера Уэйса также скоро пролил свет. После солнечного захода небо быстро темнело—в самом деле, были очень короткие сумерки—и показывались звезды. Можно было заметить, что эти звезды—те же самые что и мы видим, и что они составляют те же самые созвездия. Мистер Кэйв узнал Медведицу, Плеяды, Альдебарана и Сириуса: так что этот иной мир должен был находиться где-нибудь в солнечной системе и, по крайней мере, на расстоянии нескольких сот миллионов миль от нашего. Следуя и дальше в этом направлении, мистер Уэйс узнал, что полночное небо было более темного синего цвета, чем наше небо во время зимнего солнцестояния и что солнце казалось немного меньше. *Здесь было две небольших луны, „похожих на нашу, но меньше и совершенно различных между собой“,* при чем одна из этих лун двигалась так быстро, что ее движение было ясно заметно во время наблюдения. Эти луны никогда не бывали высоко на небе, но исчезали вскоре после восхода: это происходило потому, что при каждом их появлении на небосклоне—они затмевались, так как находились слишком близко к главной планете. И все это совершенно соответствует тем условиям, какие существуют на Марсе, хотя мистер Кэйв и не знал об этом.

На самом деле, кажется чрезвычайно правдоподобным, что смотря в хрусталь, мистер Кэйв действительно видел планету Марс и ее обитателей. И, если это так, то вечерняя звезда, так ярко сиявшая на небе этого отдаленного видения, была не что иное, как наша собственная земля.

В течение некоторого времени марсиане—если это были марсиане—казалось, не знали о наблюдениях мистера Кэйва. Раз или два один из них приходил смотреть и очень скоро уходил к другой мачте, как будто неудовлетворенный тем, что видел. В то время мистер Кэйв мог наблюдать за действиями этого крылатого народа, не привлекая их внимания и, хотя его сведения были неопределены и отрывочны, они тем не менее очень правдоподобны. Вообразите то впечатление о человечестве, которое получилось бы у наблюдателя-марсианина, если бы он после долгих приготовлений и уже с сильно уставшими глазами, стал смотреть на Лондон с высоты колокольни Св. Мартина. И при этом для наблюдения имел бы не больше четырех минут. Мистер Кэйв не мог утверждать, были ли крылатые марсиане такими же, как те, которые прыгали по дороге и террасе и могли ли последние надевать крылья по желанию. Он видел некоторое время каких-то неуклюжих двуногих, белых и отчасти про-

зрачных, — они чем-то отдаленно напоминали обезьян; эти двуногие паслись среди каких-то лишаеобразных деревьев и однажды несколько их погналось за одним из прыгавших круглоголовых марсиан. В конце концов марсианин попал в их щупальцы, но тотчас же картина внезапно потухла и оставила мистера Кэйва в темноте, в очень мучительном состоянии. В другой раз появился какой-то большой предмет, (этот предмет мистер Кэйв принял вначале за какое-то гигантское насекомое)—появился и с невероятной быстротой понесся вдоль по дороге по ту сторону канала. Когда он подвинулся ближе, мистер Кэйв заметил, что это был аппарат из блестящего металла и чрезвычайно сложный. Затем, когда мистер Кэйв взглянул снова, аппарат уже исчез из виду.

Спустя некоторое время мистер Уэйс стал стараться привлечь внимание марсиан; при первом же удобном случае, когда странные глаза одного из них плотно прижались к хрусталу и мистер Кэйв закричал и отскочил прочь,—оба, Уэйс и Кэйв, немедленно открыли свет и стали жестами подавать сигнализирующие знаки. Но когда, в конце концов, мистер Кэйв стал снова рассматривать хрусталь, марсианина уже не было.

К началу ноября наблюдения стали таким образом все больше совершенствоваться; мистер Кэйв, чувствуя, что подозрения его семьи относительно хрусталя уже улеглись, начал носить его при себе, чтобы, если представится возможность днем или ночью, усладиться тем, что стало самым реальным в его жизни.

В декабре мистер Уэйс, в связи с предстоящими экзаменами, был более обыкновенного занят; сеансы, к сожалению, откладывались на неделю, и в течение десяти или одиннадцати дней—он сам точно не помнил—Уэйс совсем не видел мистера Кэйва. Затем ему захотелось возобновить их наблюдения и так как его усиленная работа уже кончилась, он отправился к Семи Циферблатам. На углу он заметил, что запирались лавки любителя птиц и сапожника; лавка мистера Кэйва была уже закрыта.

Уэйс постучался, и дверь открыл пасынок в трауре. Он тотчас же позвал миссис Кэйв, на которой, как не мог не заметить мистер Уэйс, был, правда, дешевый, но чрезвычайно импозантный костюм вдовы. Не без удивления мистер Уэйс узнал, что Кэйв умер и уже похоронен. Миссис Кэйв была в слезах и немного охрипла. Она только что вернула ее из Хайгэйта. Ее мысли были, казалось, заняты лишь собственными планами и подробностями приличных похорон, но все же мистеру Уэйсу удалось в конце концов узнать

об обстоятельствах смерти Кэйва. Кэйв был найден мертвым в своей лавке ранним утром на другой день после его последнего визита к мистеру Уэйсу; окоченевшие руки Кэйва — сжимали хрусталь. Миссис Кэйв сказала, что лицо Кэйва — улыбалось, а черная бархатная крышка от минералов лежала на полу у его ног. Он должно быть умер за пять или шесть часов до того, как его нашли.

Это было большим ударом для мистера Уэйса и он горько упрекал себя за то, что пренебрегал явными симптомами болезни старика. Но его мысли были главным образом заняты хрусталем. Зная особенности характера миссис Кэйв, он подошел к этой теме очень осторожно. И был весьма поражен, узнав что хрусталь уже продан.

Первым побуждением мистрисс Кейв, лишь только тело Кэйва перенесли наверх, было написать шальному пастору, предлагавшему пять фунтов за хрусталь, и сообщить пастору о том, что хрусталь найден. Но после усердных поисков в которых помогала и дочь, миссис Кэйв пришлось убедиться, что адрес потерян. У них не было средств, чтоб облечься в траур и похоронить Кэйва, как это требовалось изысканным стилем обитателей старого квартала Семи Циферблатов, и поэтому они обратились к знакомому торговцу на Грэйт Портланд-Стрит. Он очень любезно принял участие в продаже и оценке вещей. Он сам оценивал вещи, и хрустальное яйцо было включено в один из его аукционов. Выразивши подходящее к случаю сожаление (сказано это было, впрочем, второпях) мистер Уэйс устремился сразу на Грэйт Портланд-Стрит. Но здесь он узнал, что хрустальное яйцо было уже продано высокому смуглому человеку в сером.

Здесь фактический материал этой странной, но во всяком случае мне кое-что говорящей истории, — обрывается. Торговец на Грэйт Портланд-Стрите не знал, кто был высокий смуглый человек в сером и не обратил на него достаточно внимания, чтобы точно описать его. Торговец не знал также, в какую сторону пошел человек в сером после того, как вышел из лавки. Мистер Уэйс оставался некоторое время в лавке, выводя торговца из терпения своими безнадежными вопросами и изливая свое раздражение. В конце концов, убедившись, что дело ушло из его рук и развевалось как сон, он вернулся к себе домой, и тут был несколько удивлен тем, что нашел у себя на неубранном столе составленные им, столь осязательные и видимые заметки об этой истории.

Его досада и разочарование естественно были очень велики. Он вторично и столь же безрезультатно посетил торговца на Грэйт Портланд-Стрите; затем прибегнул к объявлениям в таких периодических изданиях, которые, казалось, могли попасть в руки собирателей *Bric á brac*'а. Он также написал письма в „The Daily Chronicle“ и „Nature“, но обе эти газеты, подозревая мистификацию, просили его еще раз подумать до напечатания писем. Он был также предупрежден, что эта странная история, к сожалению лишенная всякой правдоподобности, может повредить его репутации ученого исследователя. Кроме того, его собственная работа требовала безотлагательных занятий.

Таким образом, через месяц или около этого, если не считать случайных визитов отдельным торговцам, мистер Уэйс волей-неволей оставил поиски хрустального яйца, и оно по сию пору остается неразысканным. Случайно как-то мистер Уэйс мне рассказал все это, и я вполне верю ему, что он изо всех сил старался отделаться от своих самых неотложных дел, чтобы возобновить поиски.

Останется ли хрустальное яйцо навсегда потерянным или нет, сущность и происхождение его — сейчас одинаково интересны.

Если купивший его — коллекционер, надо надеяться, что мистеру Уэйсу удастся напасть на его след через соответствующие магазины. Уэйсу удалось открыть пастора и „восточного человека“, с которыми имел дело мистер Кэйв — это были никто иные, как почтенный Джеймс Паркер и молодой принц Боссо-Куни из Явы. Я им обязан некоторыми подробностями этой истории. Целью принца было простое любопытство — и оригинальничанье. Он тем настойчивее хотел купить, чем упрямее Кэйв отказывался продать.

Более чем возможно, что покупщиком во второй инстанции был просто случайный покупатель, а совсем не коллекционер, и хрустальное яйцо, может быть, в настоящее время находится на расстоянии какой-нибудь мили от меня, служит просто для украшения гостиной или вместо пресс-папье — и все его замечательные свойства остаются неизвестными. Отчасти именно потому, что такая судьба хрустального яйца представляется мне вероятной, я и набросал этот рассказ в форме, в которой он может быть прочтен обыкновенным любителем легкого чтения.

Мое собственное мнение по этому вопросу вполне совпадает с мнением мистера Уэйса. Я верю, что хрусталь наверху мачты на Марсе и хрустальное яйцо мистера Кэйва

были в каких то физических в настоящее время совершенно необъяснимых отношениях. Мы оба верим также, что земной хрусталь был послан с планеты на землю (возможно, что в весьма отдаленные времена) с целью дать возможность марсианам ближе познакомиться с нашими делами. Возможно, что пары к хрусталам на других мачтах также находятся на нашем земном шаре. Никакой теорией галлюцинаций подобных фактов нельзя объяснить.

Перевела с английского

Н. Кранихфельд

ЗВЕЗДА
THE STAR

В первый день нового года почти одновременно от трех обсерваторий поступило известие, что движение планеты Нептун, самой отдаленной из всех обращающихся вокруг солнца планет, стало весьма неправильным. Огильви еще в декабре обращал внимание на подозрительное замедление скорости движения Нептуна. Эта новость едва ли была рассчитана на то, чтоб заинтересовать мир, большая часть населения которого даже и не подозревала о существовании планеты Нептун; с другой стороны—астрономы не думали, что открытие слабого, отдаленного пятна света в области потрепавшей правильность движения планеты—вызовет особенно большое волнение. Впрочем, люди науки обратили серьезное внимание на эти сведения относительно светового пятна,— даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится ярче, что его движение совершенно отличается от обычного движения планет и что отклонение Нептуна и его спутника от нормальной орбиты приняло небывалый до сих пор характер.

Немногие из людей, не имеющих научной подготовки, могут действительно представить себе полную разобщенность солнечной системы. Солнце с пятнами больших планет, с пылью мелких планет и мельчайшими кометами—плавает в беспредельной пустоте, почти не постигаемой воображением. За орбитой Нептуна лежит совершенно пустое пространство: в этом пространстве, поскольку оно доступно наблюдению, нет ни тепла, ни света, ни звука: это голая пустыня, простирающаяся на двадцать раз миллион-миллионов миль. Это наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. Эта бездна пространства до сих пор не давала никакого материала человеческой любознательности, если не считать немногих комет, состоящих из вещества еще более тонкого, чем самое слабое пламя, и только теперь, в начале двадцатого века, там появилась эта странная блуждающая звезда. Это была огромная масса

тяжелой материи, которая совершенно неожиданно вышла из таинственно-темной небесной пустыни и попала в пространство, освещенное солнцем. На второй день, даже в слабый телескоп, можно было уже ясно рассмотреть эту звезду, причем наблюдателю она представлялась в виде пятна в созвездии Льва вблизи Регула; диаметр этого пятна был еще только едва заметен. Через некоторое время звезду можно было видеть уже и в бинокль.

На третий день нового года читатели газет обоих полушарий были впервые предупреждены о действительной важности этого необычного явления на небе. „Столкновение планет“, так озаглавила сообщение одна лондонская газета, и при этом опубликовала мнение Дюшена, полагавшего, что странная новая планета вероятно столкнется с Нептуном. Авторы передовиц распространялись на эту тему. Таким образом, в большинстве столиц мира третьего января всех волновало ожидание, — правда, пока еще смутное, что в небе неминуемо произойдет что-то. После захода солнца на земном шаре наступила ночь и тысячи людей обратили свои взоры на небо, но увидели — что старые, знакомые звезды находятся пока что на своих местах.

В Лондоне перед утром зашло созвездие Близнецов и звезды над головой стали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет: еле просачивался хилый день; желтый свет газа и свечей в окнах показывал, что люди уже просыпаются. Но зевающий полисмен; густая толпа на рынке, замершая, с разинутым ртом; рабочие, торопящиеся не опоздать на работу; разносчики молока; кучера газетных фургонов; измученные и бледные кутилы, возвращающиеся домой; бездомные бродяги; часовые на своих постах; деревенские пахари, шагающие по полю; тайком пробирающиеся домой браконьеры; все, кого только можно было приметить в темной, просыпающейся Англии, и на море, поджидающие утра моряки, — все видели, как большая белая звезда внезапно появилась на западной части неба.

Звезда эта была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче самой яркой вечерней звезды. От нее исходил яркий свет: это не было тусклое пятно света, — это был маленький, круглый, ясно сияющий диск, появившийся через час после наступления дня. Пока наука еще не исследовала эту звезду, и вот люди смотрели со страхом и говорили о войне и болезнях, предвещаемых этим огненным знаменем в небе. Грубые буры, темные готтентоты, негры Золотого Берега, французы, испанцы, португальцы, — все стояли под лучами восходящего солнца, поджидая заката странной новой звезды.

И в сотне обсерваторий царило сдержанное возбуждение; когда два отдаленных тела понеслись одно навстречу другому — астрономы от волнения уже чуть не кричали; началась беготня взад и вперед, приготовление фотографических аппаратов и спектроскопов, чтобы запечатлеть небывалое удивительное явление — гибель целого мира. Ведь это был мир, это была планета — сестра нашей земли, и вдобавок гораздо больше нашей земли: и теперь эта планета внезапно бросалась в объятия пламенной смерти. Это был Нептун, прямо в Нептуна должна была тяжело удариться новая странная планета, и подъем температуры от удара — должен был тотчас же превратить два твердых тела в одну большую раскаленную массу. В тот день вокруг всего мира, за два часа до рассвета, обошла бледная, большая, белая звезда, поблекшая лишь в момент своего захода на западе; в этот момент над нею поднялось солнце. Везде люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел ее, — больше всего удивлялись ей моряки, — привычные наблюдатели звезд; моряки были далеко в море, ничего не слышали о появлении новой звезды, и глядели теперь, как она восходила подобно карликовой луне, поднималась до зенита, висела над головой и потухала на западе по окончании ночи.

И когда потом звезда опять взошла над Европой, толпы зрителей стали собираться повсюду на пригорках, на крышах домов, на открытых местах, — собирались и наблюдали, как на востоке восходила новая большая звезда. Она восходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и видевшие в предыдущую ночь первое появление звезды — теперь говорили: „Она больше, она ярче!“ И, действительно: серп луны, заходивший на западе, был явно больше новой звезды, но едва ли при всей своей величине, он сиял ярче, чем маленький диск удивительной звезды.

„Она все ярче!“ — восклицали толпившиеся на улицах люди. А в темных обсерваториях наблюдатели, затаив дыхание и переглядываясь, говорили: „Она ближе, она все ближе!“ И голоса один за другим повторяли: „Она ближе!“ — и телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и тысячи запачканных городских наборщиков набирали слова: „она ближе“. Люди, пишущие по обязанности, пораженные удивительным событием, бросали свои перья; люди, произносившие привычные речи в тысяче мест — вдруг находили страшную реальность в словах: „Она ближе“. Эти слова неслись вдоль просыпающихся улиц; эти слова выкрикивались на покрытых инеем улицах, мирных селениях; люди, прочитавшие эти слова на дрожащей телеграфной ленте,

стояли в желтом свете открытых дверей и кричали прохожим: „Она ближе!“ Красивым женщинам, румяным и сияющим, эту новость в шутливой форме сообщали во время танцев, и женщины, притворяясь, что они очень заинтересованы и что-то такое понимают, (на самом деле они, конечно, ничего не понимали), спрашивали: „Ближе? В самом деле? Как интересно! Каким умным — каким необычайно умным человеком надо быть, чтобы сделать такое открытие!“.

Одинокие бродяги, странствующие зимнею ночью, поглядев на небо, бормотали эти слова в виде самоутешения: „Нужно, чтобы она была еще ближе, — ночь холодна, как милостыня. Кажется, она греет; тепла от нее больше, когда она ближе“. Все то же.

— Что мне за дело до новой звезды? — восклицала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умирающего.

Школьник, встав рано, чтобы готовиться к экзамену, совсем запутался, когда через покрытое морозным узором окно увидел большую, ярко сиявшую белую звезду. — „Центробежно, центростремительно...“ — сказал школьник, подперев кулаком подбородок. — „Если планета, потеряв свою центробежную силу, остановится с разбегу — что тогда? Будет действовать сила центростремительная — и планета упадет на солнце. А это...“

— „Попадемся ли мы ей на пути? Неужто...“

День шел обычным путем своих братьев, и в последние часы в морозной темноте вновь взошла удивительная звезда. Она была теперь так ярка, что увеличившаяся луна казалась только бледно-желтой тенью прежней луны, и тень эта где-то высоко висела на западной стороне неба. В южно-африканском городе женился великий человек и улицы были освещены в честь его возвращения с молодой женой. — „Даже небеса иллюминированы“ — сказал льстец.

Под тропиком Козерога двое влюбленных негров притаились в камышах, где летали светляки; им не были страшны ни дикие звери, ни злые духи, потому что они любили друг друга. — „Это наша звезда“ — шептали они и чувствовали себя удивительно приятно от кроткого блестящего ее сияния.

Профессор математики сидел в своей комнате; он отодвинул от себя лист бумаги. Его вычисления были уже закончены. В маленьком белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, — того самого, которое помогло ему не спать и поддержало его энергию в течение четырех долгих ночей. Каждый день — спокойный, точный, терпеливый, как всегда, он читал лекции студентам и затем тотчас же возвращался

обратно к своим вычислениям. Лицо у него было степенное, немного похудевшее и изнуренное от лихорадочной работы. Некоторое время он казался погруженным в свои мысли. Потом подошел к окну, и, ослепленный, отскочил, захлопнув его. На полпути к зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда.

Профессор посмотрел на нее так, как смотрят в глаза храброму врагу.

— Может быть, ты убьешь меня? — сказал он помолчав. Но я могу вместить тебя, — а, стало быть, и всю вселенную, вот в этом самом моем крошечном мозгу. Я не изменю, даже теперь.

Он посмотрел на маленький пузырек:

— Снова надо не спать — сказал он.

На следующий день в полдень, точно, минута в минуту, он вошел в свою аудиторию, положил шляпу по привычке на край стола и осторожно выбрал большой кусок мела. Студенты всегда потешались над тем, что он может читать лекцию только в том случае, если вертит в пальцах кусочек мела, и однажды, когда они спрятали мел — профессор совершенно лишился дара слова. Он пришел, из-под седых бровей посмотрел на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых свежих лиц и заговорил в обычной своей манере.

— Возникли некоторые обстоятельства, обстоятельства, обстоятельства, независимые от моей воли, — сказал он и остановился, — и это мешает мне закончить тот курс, который я наметил. Милостивые государи! Если говорить кратко и ясно, то кажется, выходит, что человек, жил попусту.

Студенты переглянулись: не ослышались ли они? С ума он, что ли, сошел? Поднимались брови, кривились губы улыбкой, но один-два лица напряженно смотрели на спокойное, обрамленное седыми волосами, лицо профессора.

— Было бы интересно, — сказал он, — посвятить сегодняшнее утро изложению вычислений, приведших меня к такому выводу. Постараюсь, насколько могу, объяснить их вам. Предположим...

Он повернулся к черной доске, как-то необычно обдумывая диаграмму.

— Что значит — прожил напрасно? — прошептал один студент другому.

— Слышит — ответил другой, кивая по направлению лектора.

Но в скором времени они начали понимать.

В эту ночь звезда взошла позднее; она двигалась в пространстве с востока на запад, и это движение увлекало ее

мимо созвездия Льва—к Деве; звезда горела уже так ярко, что когда она взошла, небо стало светло-синим, и все звезды скрылись при ее появлении; виднелся только Юпитер вблизи зенита и затем, Капелла, Альдебаран, Сириус и Медведица. Звезда светилась ярко-белым светом и была очень красива; во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Звезда явно увеличилась; в ясном, преломляющем свет, небе тропиков она казалась величиной почти в четверть лунного диска. В Англии был мороз, но было светло, как в летнюю лунную ночь. Можно было читать обыкновенную печать при этом холодном ясном свете, и в городах свет ламп казался желтым и бледным.

Этой ночью никто на свете не спал; во всем христианском мире, над деревнями, в холодном воздухе стоял глухой рокот, подобный жужжанию пчел в кустах; этот глухой рокот в городах разрастался в шум. То был колокольный звон: тысячи башен и колоколен призывали людей не спать, не грешить, призывали собираться в церквях и молиться. А над головою, по мере того, как земля совершала свой путь и ночь шла к концу—всходила ослепительная звезда и становилась все больше и ярче. Во всех городах ярко горели огни на улицах, в домах; огнями сияли верфи; всю ночь напролет дороги, ведущие к возвышенным местам, были освещены и полны народа. На всех морях, омывающих цивилизованные страны, стояли пришедшие с океана, с севера, корабли; на кораблях этих теснились люди и животные; на кораблях стучали машины, надувались паруса. Ибо уже по всему свету телеграф передал, переведенное на сотню языков предупреждение профессора математики. Новая планета и Нептун сплелись в пламенном объятии и неслись стремглав, все быстрее и быстрее по направлению к солнцу. Уже эта пламенеющая масса пролетала каждую секунду по тысяче миль и с каждой секундой ее ужасная быстрота все увеличивалась. Если она и дальше будет нестись с такою же возрастающей быстротой, то, конечно, она пролетит расстояние в сто миллионов миль, отделяющее ее от земли и почти коснется ее. Но вблизи определенного ей судьбою пути, если только она слегка отклонится с этого пути—движется огромная планета Юпитер с своими спутниками, окружающими Юпитера блестящим кольцом. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось все сильнее. Каков же будет результат этого притяжения? Неизбежно орбита Юпитера станет эллиптической, и пламенеющая звезда, отвлекаемая от своего стремления к солнцу притягивающей силой Юпитера — „описет

искривленный путь“—и может быть ударится о нашу землю, или, во всяком случае, пройдет совсем близко от земли. „Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, бури на море, потоп и неизменное поднятие температуры, насколько мне известно, будут следствием этого явления“,—так пророчествовал профессор математики.

А над головой, как бы подтверждая его слова, одинокая, холодная, багровая—сияла звезда, предвещая приближение гибели.

Тем, кто до боли в глазах смотрел на звезду этой ночью, казалось, что она стала заметно ближе. Ночью неожиданно погода переменялась: мороз, охватывавший центральную Европу, Францию и Англию, ослабел, и наступила оттепель.

Но если я говорю, что люди молились всю ночь напролет, люди садились на корабли, люди бежали в горы,—это не значит, что весь свет был уже охвачен страхом от появления звезды. На самом деле все на свете шло своим обычным путем, и если не считать разговоров в свободное от работы время и ночного освещения, то можно считать, что девять человек из десяти были заняты своими будничными делами. Во всех городах все лавки, за исключением одной или двух, открывались и закрывались в положенное время; врачи и предприниматели выполняли свою работу; рабочие собирались на фабриках; солдаты маршировали; ученики учились; любовники стремились друг к другу; воры прятались и бежали; политики строили свои планы. В газетных типографиях печатные машины гудели по целым ночам; священники той или другой церкви отказывались открывать свои священные убежища, чтобы не поощрять того, что они считали безумной паникой. Газеты напоминали урок 1000-го года: тогда люди ведь тоже предсказывали конец света. Звезда—это, в сущности, не звезда, а только комета, т. е. газ; даже если это и звезда—все равно она не могла столкнуться с землею. Таких прецедентов еще не было. Повсюду брал верх здравый смысл, презрительный, насмешливый, немного склонный преследовать этот упрямый страх. Сегодня вечером в семь часов пятьдесят минут, по Гринвическому времени, звезда будет проходить в самом близком расстоянии от Юпитера,—тогда все увидят, какой оборот примет дело. Предостережения профессора математики рассматривались некоторыми, как тонкий способ саморекламы. В конце концов здравый смысл, немного разгоряченный спором, объявил свое окончательное решение: пойти спать. Таким образом, варварство и дикость, тоже утомленные, вернулись к своим ночным занятиям и все животное царство перестало обра-

щать внимание на звезду, только собаки еще лаяли там и здесь.

И вот, наконец, наблюдатели во всех европейских государствах увидели восходящую звезду; правда, она взошла на час позднее, но отнюдь не казалась больше, чем в предыдущую ночь, и ученые были готовы смеяться над профессором математики и считать, что предсказываемая им опасность уже миновала.

Но потом смех замолк. Звезда увеличивалась — она увеличивалась с ужасным постоянством час за часом; каждый час она становилась несколько больше, несколько ближе к полуденному зениту, и все ярче, все ярче, — пока не превратила ночь в настоящий день. Если бы звезда двигалась по направлению к земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, — она должна была бы проскочить отделявшую ее от земли бездну в один день; но так как звезда двигалась по кривой, то ей понадобилось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, появившись над Англией, звезда была величиной уже в треть лунного диска; уже вполне определенно констатирована была оттепель. Над Америкой звезда взошла — почти с луну величиной; там она была ослепительно белая и *горячая*; после ее восхода подул жаркий ветер; в Виргинии, Бразилии и в долине Св. Лаврентия — она мелькала сквозь клубящийся пар грозовых туч, сверкавших фиолетовыми молниями, сыпавших небывалый град. В Менитобе была оттепель и опустошительное наводнение. На горах, по всей земле, этой ночью стал таять снег; все реки, берущие начало в горных местах, побежали мутными бурными потоками — и скоро, в верховьях рек, эти потоки несли уже деревья и трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством и, наконец, ринулась из берегов и понеслась вслед за бегущим населением речных долин.

Вдоль Южно-Атлантического и Аргентинского побережья — приливы были выше, чем когда-либо на памяти людской, а в некоторых местах — бури бросали воду на много верст внутрь страны, затопляя целые города. Жара настолько увеличилась за ночь, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения и прокатились по всей Америке, от полярного круга до мыса Горна, сглаживая скаты холмов, разверзая землю, разрушая дома и стены в мелкие куски; после одной такой могучей судороги — рухнула целая сторона Котопахи и жидкий поток лавы разлился так высоко и широко, так быстро, что в один день достиг моря.

Так звезда направлялась к Тихому Океану, имея в кильватере посиневшую луну, и таща за собою грозовые бури, точно подол своего платья; следом за звездой, — вставали все растущие волны прилива, — пенились, шумели, изливались на острова, до чиста сметая людей. И последнюю набегала быстрая и страшная стена воды, в пятьдесят фут. высотой, — набегала под ослепительным светом и жарким, как печь, дыханием звезды, с ворчанием голодного зверя мчалась вдоль длинного побережья Азии и через равнины Китая заливала сердце страны. В этом месте звезда горячее, больше и ярче, чем самое яркое солнце с беспощадным блеском озаряла обширную населенную страну, города и села с их пагодами и деревьями, дороги, обширные возделанные поля, миллионы измученных бессонницей людей, в беспомощном страхе смотрящих в накаленное до бела небо. Все разрастаясь, приближался шум наводнения, и в эту ночь началось бегство миллионов людей. Люди бежали, куда попало; люди, задыхаясь, бежали с отяжелевшим от жары телом, а за ними катилась быстрая белая стена воды. Это была — смерть.

Китай был освещен накаленным до-бела светом, но над Японией, Явой и всеми внутренними странами Восточной Азии большая звезда поднялась в виде шара из тусклого, красного пламени, мелькая среди пара, дыма и пепла, извергаемых вулканами: это вулканы по-своему приветствовали появление звезды. Вверху — лава, горячие газы и пепел, а внизу — кипящие потоки и земля, содрагающаяся и колеблемая толчками землетрясений.

Вскоре снег, с незапамятных времен лежавший на Тибетских и Гималайских горах, начал таять; вода через десятки миллионов глубоких, сходящихся в одном месте русл — устремилась в долины Бирмы и Индостана. Тесно сплетшиеся вершины Индийских джунглей вспыхнули сразу в тысяче мест; внизу, на поверхности быстро бегущих потоков,плыли какие-то темные предметы, цепляясь за стволы деревьев и все еще пытаясь бороться из последних сил; кроваво-красные языки пламени освещали эти темные предметы... Это было множество мужчин и женщин растерянно, бесцельно стремившихся по широкой водной дороге к последней людской надежде — к открытому морю.

Все больше становилась звезда, с ужасающей быстротой становилась она больше, жарче и ярче. Океан под тропиками перестал светиться, и пар призрачным вихрем клубился над черными, неустанно плещущими волнами, на которых чернели пятнами подбрасываемые бурей корабли.

А затем случилось чудо. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, казалось, что просто-таки остановилась земля. Везде, на открытых местах, на равнинах и плоскогорьях, люди, спасавшиеся здесь от наводнения, падающих домов и подмытых, обваливающихся утесов, — напрасно ожидали восхода звезды. Час проходил за часом, а звезда к величайшему недоумению, все не всходила. Снова люди увидели старые созвездия, которые они считали уже погибшими для себя навсегда. В Англии было жарко и светло, но землетрясение еще продолжалось; в тропиках — Сириус, Капелла и Альдебаран сияли сквозь пелену пара. И когда, наконец, большая звезда взошла — почти на десять часов позже, чем надо — вслед за ней немедленно встало солнце — и все заметили, что в центре белого сердца звезды — появился черный кружок.

Над Азией звезда начала опускаться, следуя движениям небесного свода, — и вдруг, когда она находилась уже над Индией, свет ее затуманился.

Вся Индийская равнина от устья Инда до устья Ганга — представляла из себя этой ночью неглубокое пространство воды, из которой торчали храмы и дворцы, плотины и холмы, черные от усеявших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди, падая один за другим в мутную воду, когда жара и страх, наконец, одолевали их. Вся страна казалась одним сплошным воплем — и вдруг тень пробежала через это горнило отчаяния, повеяло дуновение холодного ветра, рой облаков, струя охлаждающего воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослепленные люди заметили: сквозь яркий свет звезды — проглядывает черный диск. Это была луна, появившаяся между звездой и землей. И как будто в ответ на жалобы людей, просивших у Бога пощады, на востоке со странной, необъяснимой быстротой вынырнуло солнце. И тогда звезда, солнце и луна — все вместе понеслись по небу.

Так было, когда европейские наблюдатели видели, как звезда и солнце появились почти одновременно и стремглав помчались в пространство; затем движение их замедлилось, и, наконец, они совсем остановились; на зените и звезда и солнце — слились в одно в блестящее пламя. Луна не долго заслоняла звезду от земли и скоро перестала сиять на блестящем небе.

И однако среди тех, кто еще до сих пор смотрел бодро (большая часть людей смотрела уже с мрачной оцепенелостью, порожденной голодом, усталостью, жарой и отчаянием), нашлись люди, понявшие значение этих знамений. Звезда и земля были на самом близком расстоянии друг от друга, проплыли

рядом — и затем звезда прошла мимо земли. Она уже удалялась все быстрее и быстрее: это была последняя фаза ее головокружительного пути к солнцу.

И вот собрались облака, покрыли все небо, гром и молния окутали весь свет; по всей земле пролились такие дожди, которых люди никогда и не видывали; повсюду вулканы извергали красное пламя вверх, к облакам, как балдахин покрывавшим льющиеся на землю потоки грязи. Повсюду на земле реки выходили из берегов, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и вся земля, подобно размытой после бури набережной, была усеяна всем, что только может плавать, — и трупами людей и животных. В течение многих дней вода струилась по земле, увлекая на своем пути и землю, и деревья, и дома, наполняя глубокие канавы и вырывая гигантские борозды на берегах. Это были дни мрака, следовавшие за появлением звезды и жарой. Все это время, в течение многих недель и месяцев, без перерыва продолжались землетрясения.

Но звезда прошла и люди, страдавшие от голода и жажды, понемногу пришли в себя и смогли вернуться к своим разрушенным городам, опустошенным жилищам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, пришли полумертвые, осторожно выбирая путь: когда-то хорошо знакомые гавани были теперь усеяны вновь появившимися камнями и отмелями.

И когда бури прошли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше, солнце больше, а луна, уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершала свой оборот кругом земли в течение восьмидесяти дней.

В задачи этой повести — не входит рассказывать о том, как среди людей создались новые братские отношения; о том, как после катастрофы уцелели законы, книги, машины; о том, что с Исландией, Гренландией и побережьем Баффина залива произошла странная перемена и что приплывшие туда моряки — просто глазам не поверили: такими зелеными, цветущими стали эти места. Не будет эта повесть рассказывать и о том, как теперь, когда земля стала теплее к северу и югу от полюсов, люди расселились по всей земле. Эта повесть ставит себе задачу рассказать только о появлении и исчезновении звезды.

Марсиане-астрономы (на Марсе есть астрономы, хотя марсиане и являются очень отличными от людей существами) были естественно глубоко заинтересованы всеми этими явлениями. Они рассматривали их, конечно, со своей точки зрения. Один из них писал: „Принимая во внимание величину и

температуру метательного снаряда, сброшенного с нашей системы на солнце, надо удивляться, что на земле, едва не задетой снарядом, произошли такие, сравнительно незначительные разрушения. Все известные нам очертания континентов и водных пространств — остались в прежнем виде, и, повидимому, произошла лишь одна перемена: исчезла белая окраска (вероятно — льды) вокруг земных полюсов". Это только показывает какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния пяти миллионов миль.

Перевела с английского

Н. Кранихфельд

РАССКАЗ О КАМЕННОМ ВЕКЕ

A STORY OF THE STONE AGE

УФ-ЛОМИ и УЙЯ

Это произошло в незапамятные, доисторические времена, когда можно было пройти, не замочив ног, из Франции (как мы ее теперь называем) в Англию и когда широкая и неповоротливая Темза текла посреди болот навстречу своему отцу—Рейну, и потом бежала по обширной и ровной местности, находящейся в настоящее время под водой и известной под именем Северного моря. В те отдаленные времена не существовало еще долины, простирающейся у подножья Доунса, а южная часть Сэррея—представляла собою цепь холмов, в средней своей части покрытых соснами и большую часть года находящихся под снегом. Каменные сердцевинки самых высоких из этих холмов сохранились до сих пор и известны под именем Лейтхилля, Питчхилля и Хиндгэда. На склонах этой цепи холмов,—были лужайки, где паслись дикие лошади; еще ниже,—зеленели леса из каштановых, тиссовых и вязовых деревьев; в чаще, в темных уголках леса, прятались медведь-гризли и гиена; серые обезьяны карабкались по ветвям. И уж совсем внизу, в лесистой и болотистой местности, среди лугов—протекала река Уэй; тут-то и разыгралась та маленькая драма, о которой я хочу рассказать. Это произошло пятьдесят тысяч лет тому назад, пятьдесят тысяч лет, если только вычисления геологов правильны.

И в те дни весна была так же радостна, как теперь, и так же заставляла кровь быстрее бежать по жилам. На вечернем голубом небе плыли белые облака и юго-западный ветер веял, нежно лаская. Только что прилетевшие ласточки сновали взад и вперед. Речные заводи были усеяны белыми кувшинками, болотистые места заросли луговым сердечником и мальвой; местами—шло целое войско осоки, с опущенными

вниз шпагами. На север двигались, неуклюже резвясь, черные лоснящиеся чудовища—гиппопотамы, они барахтались и спотыкались в этих зарослях, смутно чему-то радуясь и чувствуя только одно определенное желание: подольше мутить воду своим барахтаньем.

Немного выше по реке, недалеко от гиппопотамов, плескалось в воде множество маленьких желтокожих зверенышей. Между ними и гиппопотами не замечалось ни соперничества, ни вражды, ни страха. Когда огромные туши подошли к реке, ломая тростник и замутив зеркальную поверхность воды серебристыми брызгами, эти маленькие существа принялись весело кричать и жестикулировать. Это был вернейший признак наступления весны. „Болу!“ кричали они „Бэйя! Болу!“ Это были дети человеческого племени; становище племени было неподалеку, на холме за излучиной реки,—в той стороне виднелся дым. Человеческие детеныши—были дико-глазые, с всклокоченными волосами и небольшими широконосими, плутоватыми лицами; тело у них было покрыто нежным пухом (что встречается у некоторых детей и в настоящее время). Бедрa у них были узкие, а руки длинные. Уши были без мочек и имели слегка заостренные верхушки, что изредка, как пережиток, встречается и в настоящее время. Это были совершенно нагие маленькие цыганята, живые и подвижные, как обезьяны и такие же крикливые, хотя подчас им и не хватало слов.

Взрослых из того же племени не было видно; между ними и переваливавшимися с ноги на ногу гиппопотами—находился гребень холма. Человеческое становище представляло из себя утоптанную площадку посреди сухой темной ливы папоротника, сквозь которую пробивались к теплу и свету молодые побеги. Костер—тлеющую грудку серого и черного пепла—поддерживали старые женщины, от времени до времени подбрасывая в огонь охапки сухих листьев. Большинство мужчин спало; они спали сидя, уткнув головы в колени. В это утро им досталась хорошая добыча: их охотничьи собаки затравили оленя, которого хватило на всех, так что они не ссорились из-за пищи; некоторые из женщин еще до сих пор грызли разбросанные там и сям кости. Другие собирали в кучу листья и сучья, чтобы к ночи у Брата Огня было достаточно пищи, чтоб он вырос сильный и высокий и охранял бы их от диких зверей. А две женщины ссыпали в кучу кремни, которые они приносили охапками с берега той реки, где играли дети.

Ни на ком из этих желтокожих дикарей не было одежды, только у некоторых на бедрах были грубые пояса из змеиной

кожи или же растрескавшиеся невыделанные шкуры, с которых свешивались небольшие мешочки; в этих мешочках помещались когда-то лапы тех животных, с которых была содрана кожа, а теперь там лежали грубо-обделанные кремни, служившие главным оружием и инструментом человека того времени. Только на одной женщине, подруге Уйи-Лукавого Человека, было удивительное ожерелье из просверленных окаменелостей, которое носили жены вождей и до нее. Возле некоторых из спящих мужчин лежали большие лосьи рога с остро-обтесанными концами и длинные палки с насаженными на них острыми кремнями. Только это оружие да тлеющий костер и отличали тогда человеческие существа от диких животных, бродивших неподалеку. Уйя-Лукавый не спал: он сидел с костью в руках и деятельно отскабливал ее кремнем, на что неспособно было ни одно животное. Он был самый старший во всем племени. У него были нависшие брови, выдающиеся челюсти, тонкие руки, борода на щеках, грудь и руки, покрытые черной густой шерстью. Благодаря своей силе и хитрости, он был главою племени и ему всегда доставалась лучшая и большая часть добычи.

Юдена спряталась между ольховыми деревьями, потому что она боялась Уйи. Она была еще девочка с блестящими глазами и с привлекательной улыбкой. Уйя дал ей кусок печенки, такой большой, что он скорее годился для мужчины, девочкам такие куски не полагалось давать. Когда она брала этот кусок, женщина с ожерельем посмотрела на нее злыми глазами, а Уф-Ломи издал горловый звук, но Уйя взглянул на него так пристально и упорно, что лицо Уф-Ломи вытянулось. А потом Уйя посмотрел на Юдену; Юдена испугалась и скрылась. Уйя все продолжал есть, устремив все свое внимание на высасывание мозга из кости. Потом он стал бродить, как бы розыскивая Юдену; но она притаилась между ольхами, с интересом наблюдая за тем, что делал Уйя с костью и кремнем. А Уф-Ломи нигде не было видно.

Скоро по ветвям ольхи проскакала белка; Юдена лежала так тихо, что маленькое создание заметило ее уже совсем вблизи. Тотчас же белка кинулась вверх по дереву и стала бранить ее. „Что ты тут делаешь вдали от остальных человеческих зверей?“—спросила белка.—„Тише“—сказала Юдена, но белка заболтала еще громче; тогда Юдена стала отламывать маленькие черные шишки и бросать их в белку. Белка увертывалась, но несколько не боялась. Юдена, увлекшись, встала, чтоб лучше попасть в белку, и тут увидела Уйю, спускавшегося с холма. Уйя сквозь чащу приметил движение белой руки Юдену,—у него было очень острое зрение.

Юдена сразу позабыла о белке и изо всех сил пустилась бежать между ольхами и через тростники. Она не думала о том, куда бежит, — лишь бы скрыться от Уйи. Почти по колено в воде она шлепала по болотистым местам — и вдруг увидела перед собой овраг, поросший папоротниками. Тут они росли уже не на солнце, а в тени молодых каштанов и чем дальше, тем становились все стройнее и зеленее. Бегала Юдена быстро — она скоро была уже в лесу и продолжала бежать, пока не забралась в самую чащу, где стояли старые деревья, увитые крепким и твердым плющом, а стебли виноградных лоз, где попадал на них солнечный свет, были толщиной в молодое дерево. Она бежала все дальше и дальше, все быстрее и быстрее и, наконец, на какой-то поляне среди папоротников легла под защитой густого кустарника и стала прислушиваться; сердце у нее так и колотилось.

Она слышала, как далеко от нее шуршат листья под чьими-то ногами. Потом шаги затихли и снова все стало безмолвным, только жужжали комары, да неумолчно шелестели листья, — приближался вечер. Она молча улыбнулась при мысли, что Лукавый Уйя пробежит мимо нее. Ей не было страшно. Иногда, играя с другими девочками и мальчиками, она убегала в лес, но никогда не заходила так далеко. Было так весело чувствовать, что спряталась тут от всех, и никого нет.

Она долго лежала здесь, радуясь тому, что удачно ускользнула от Уйи, потом села и стала прислушиваться.

До нее доносился быстрый топот, становившийся все явственнее по мере приближения и через некоторое время она услышала хрюканье и треск ветвей. Это было стадо тощих страшных диких кабанов. Юдена осмотрелась кругом, потому что кабан не очень-то приятный попутчик, и при встрече — всегда может сбоку ударить своими клыками; Юдена бросилась в сторону между деревьями. Но топот все приближался, кабаны вовсе не шли щипать траву — они бежали быстро — если только не гнались за Юденкой — и вот Юдена схватилась за ветку дерева и стала карабкаться по стволу с ловкостью обезьяны.

Когда она взглянула вниз, острые щетинистые спины животных уже проносились под ветвями. Юдена знала, что это короткое, резкое хрюканье у кабанов означает испуг. Но чего они испугались? Человека? Нет они слишком спешили: нельзя было думать, что тут дело идет только о человеке.

Тут неожиданно, так что Юдена невольно схватилась за ветку, из чащи выскочила лань и бросилась вслед за кабаном. А за ланью бежало что-то низкое и серое, с длинным

телом; Юдена не знала, что это такое, так как видела это существо лишь одно мгновение сквозь молодую листву. Затем снова водворилась тишина.

Упорно глядя вниз, Юдена оцепенела в ожидании; она была так неподвижна, как будто была частью того дерева, к которому прижималась.

Вдруг, вдали между деревьями, то показываясь на минуту, то снова исчезая, то высываясь по колено из папоротников, то снова скрываясь, появился бегущий человек. По светлому цвету волос Юдена узнала в нем молодого Уф-Ломи. Лицо у него было в крови. Его неистовый бег и кровь на лице — заставили сжаться сердце Юденки. Вслед за ним грузно бежал, задыхаясь, другой человек. Сперва Юдена не могла его разглядеть, а затем увидела вблизи и совсем ясно Уйю; он бежал большими шагами, глаза у него были вытаращены. Он не гнался за Уф-Ломи. Лицо его было бледно. Это был Уйя — испуганный. Он пробежал, и не успел еще затихнуть шум его шагов, как что-то другое, большое, покрытое сероватой шерстью, промчалось, переваливаясь, мягкими быстрыми шагами вслед за Уйей.

Юдена вдруг замерла, перестала дышать и с остановившимися от ужаса глазами судорожно вцепилась в дерево.

Она до сих пор никогда не видала этого существа и теперь не могла ясно рассмотреть его, но она знала, что это был Ужас Леса. Его имя было окружено легендами, дети пугали им друг друга и сами пугались, произнося его имя, и с криком бежали к становищу. Никто из людей еще не убил подобного существа, даже могущественный мамонт боялся его гнева. То был медведь-гризли, владыка мира, — мира, каким он в те времена был.

Гризли бежал и не переставал глухо ворчать: „А, люди в моей собственной берлоге! Борьба и кровь! У самого входа в мою берлогу. Люди, люди, люди. Борьба и кровь...“ Ведь он был владыка леса и пещер.

Еще долго после того, как он пробежал, Юдена оставалась в оцепенении, пристально глядя вниз, сквозь ветки. Она не могла двинуться с места и инстинктивно цеплялась руками, коленями и ногами за дерево. Прошло некоторое время прежде чем она могла собраться с мыслями и тут она поняла только одно: Ужас находится между ней и ее племенем, и стало быть — слезть с дерева ей нельзя.

Когда ее страх несколько прошел, она поудобнее расположилась на дереве там, где начинался толстый сук. Вокруг росли деревья, так что Юдене совсем не было видно Брата-Огня, — ведь днем Брат-Огонь бывает черным. Птицы начали

шевелиться, и всякие твари, спрятавшиеся было от страха перед зашевелившейся Юденей—снова начали выползать.

Через некоторое время верхние ветки деревьев загорелись отблесками заката. Высоко над головой Юдены, грачи, которые были умнее людей, каркая, летели домой, в свои гнезда на вязах. Видневшиеся внизу предметы становились отчетливее и темнее. Юдена подумала о возвращении в становище. Она спустилась немного пониже, но затем ее снова охватил страх перед Ужасом-Леса. Пока она колебалась, раздался жалобный крик кролика, и она не решилась спуститься вниз.

Тени сгущались, и недра леса начали просыпаться. Юдена на своем дереве взобралась выше, поближе к свету. Внизу тени вышли из своих убежищ и бродили вокруг. Над головой небесная лазурь темнела. Наступила жуткая тишина, а затем листья начали шелестеть.

Юдена дрожала и думала о Брате-Огне.

Тени стали сгущаться в деревьях, усаживались на ветвях и подстерегали Юдену. Сучья и листья становились зловещими, принимая неподвижные черные очертания и готовились наброситься на Юдену, чуть только она шевельнется. Неслышно, как призрак, пролетел между тенями белый филин. Мир становился все темнее и темнее, пока, наконец, листья и ветви не стали черными на фоне неба и земля не скрылась во мраке.

Юдена в течение всей этой бесконечной ночи—глаз не сомкнула—всю ночь она напряженно прислушивалась к тому, что происходит внизу в темноте, стараясь не производить ни малейшего движения, чтобы какое-нибудь притаившееся животное не открыло ее. В то время человек никогда не оставался один в темноте—за исключением таких вот редких случаев. Поколение за поколением человек учился страху—от этих уроков мы, бедные его потомки, до сих пор не можем отделаться. Хотя Юдена по возрасту была уже женщиной, но сердцем она все еще была подобна маленькому ребенку. Бедный маленький зверек, она тихо сидела, как загнанный заяц.

На небе собрались звезды и смотрели на нее: это была ее единственная отрада. Одна яркая звезда показалась ей похожей на Уф-Ломи, затем она вообразила, что это действительно—Уф-Ломи. А рядом с ним, красный и мрачный—это Уйя, и когда прошла ночь, Уф-Ломи побежал по небу от Уйи.

Юдена старалась увидеть Брата-Огня, который охранял становище от зверей, но его не было видно. Стало слышно:

вдали затрубили мамонты, спускавшиеся к водопою, а один раз что-то огромное пробежало, мыча как корова, но что это было, Юдена не могла рассмотреть. По голосу она решила, что это был Яааа-носорог, убивающий носом, бродящий всегда один и без причины впадающий в бешенство.

Наконец стали скрываться сначала мелкие звезды, а потом и крупные. Это было похоже на животных, бежавших от Ужаса. Вставало солнце; это был—владыка неба, как гризли был владыкой леса. Юдене хотелось знать, что бы случилось, если бы хоть одна звезда осталась на небе. Но тут небо совсем побледнело перед рассветом.

С рассветом страх Юдены перед скрывающимися во тьме существами прошел, и она решила спуститься с дерева. Она чувствовала себя разбитой, но, конечно, не в такой степени, как, благодаря вашему воспитанию, чувствовали бы себя вы, моя милая читательница; так как Юдена не была приучена есть, по крайней мере, один раз в три часа, а, наоборот, частенько постилась по три дня, то и от голода она не очень страдала. Она тихонько спустилась с дерева и стала осторожно пробираться через лес, вся дрожа от страха: не скачущая белка и не олень пугали ее—ей все мерещился гризли.

Юдене хотелось разыскать своих. Ее страх перед Уйей-Лукавым был ничто по сравнению с еще большим страхом одиночества, но она не знала, по какому направлению ей идти. Накануне она бежала, не обращая внимания на дорогу, и теперь не могла сообразить, где было становище: в стороне восхода солнца или в стороне заката. Она все время оставалась и прислушивалась, и наконец услышала очень отдаленное мерное позвякивание. Позвякивание это было едва слышно даже в этой утренней тишине, и Юдена подумала, что это где-то очень далеко. Но она сразу узнала, что это позвякивание обтачиваемого кремня.

Скоро деревья стали редеть и поросшая крапивой поляна преградила Юдене дорогу. Юдена свернула в сторону и подошла к знакомому ей упавшему дереву, вокруг которого носились и жужжали пчелы. Скоро она издали увидела холм, и реку под ним, и детей, и гиппопотамов—все совершенно в таком же виде, как вчера, и тонкую спираль дыма, колеблемую утренним ветром. Далеко возле реки виднелась группа ольховых деревьев, где она вчера пряталась. При виде этих деревьев к ней опять вернулся страх перед Уйей; она залезла в чашу папоротников, из которых выскочил кролик; тут Юдена пролежала некоторое время, наблюдая за становищем.

В становище Юдена не видела почти никого из мужчин, исключая Уау, кремнетеса; поэтому она почувствовала себя в большей безопасности. Мужчины, без сомнения, ушли добывать пищу. Несколько женщин внизу у реки стояли наклонившись; они искали раковин, речных раков и улиток; при виде этих женщин—Юдена сразу почувствовала голод. Она вскочила и побежала через папоротники, чтобы присоединиться к женщинам у реки, но вдруг услышала: тихий голос зовет ее из самой гущины папоротников. Она остановилась. Позади нее раздался шорох; оглянувшись, она увидела Уф-Ломи, вылезавшего из папоротников. Лицо его было покрыто запекшеюся кровью и грязью, глаза горели, а в руке он держал белый камень Уйи—белый камень Огня, которого никто, кроме Уйи, не смел трогать. Одним прыжком Уф-Ломи очутился возле Юдену и схватил ее за руку. Он повернул Юдену и толкнул ее по направлению к лесу. „Уйя“—сказал он и замахал руками. Юдена услышала крик, оглянулась и увидела, что все женщины вскочили на ноги и те две, что были в реке, вылезли оттуда. Затем послышалось завыванье, и старуха с бородой, наблюдавшая на холме за огнем, стала размахивать руками, а Уау, мужчина, обтачивавший камень, вскочил на ноги. Маленькие дети тоже суетились и кричали.

— „Идем!“—сказал Уф-Ломи и потянул Юдену за руку.

Она все еще не понимала.

— „Уйя произнес слово смерти“,—сказал Уф-Ломи, Юдена взглянула на мчавшиеся полукругом фигуры—и поняла.

Уау и все женщины и дети бежали к ним рассыпанным строем всклокоченных фигур, завывая, прыгая и крича. По холму мчались два юноши. Внизу среди папоротников справа—бежал человек, старавшийся отрезать Уф-Ломи и Юдену от леса. Уф-Ломи выпустил ее руку и они понеслись бок-о-бок большими, легкими скачками, перепрыгивая через папоротники. Зная быстроту ног своих и Уф-Ломи, Юдена смеялась над этой неравной погоней. Они были исключительно быстрого парой даже для того времени.

Скоро они добежали до открытого места и свернули к каштановому лесу; они теперь ничего не боялись, так как ни он, ни она уже не чувствовали себя одинокими. Они даже нарочно несколько замедляли шаг. Вдруг Юдена вскрикнула и бросилась в сторону, указывая на что-то мелькавшее между стволами деревьев. Уф-Ломи увидел ноги и бедра бежавших наперерез к ним нескольких человек. Юдена уже свернула в бок, но лишь только Уф-Ломи хотел последовать за ней, как оба услышали из-за деревьев голос Уйи, яростно кричавшего на них.

Ужас наполнил их сердца, но не тот ужас, который скывывает тело, а тот, который делает человека молчаливым и проворным. Теперь они были отрезаны с обеих сторон, погоня почти загнала их в угол. Направо, совсем близко от них, тяжелыми и быстрыми шагами бежали мужчины, предводительствуемые бородатым Уйей. В руке у него был олений рог. Налево, разбросанные, как семя во время посева, мелькая желтыми пятнами среди папоротников, бежали Уау и женщины. Даже маленькие дети, игравшие на мели, присоединились к погоне. Обе группы старались соединиться впереди беглецов. Они мчались изо всех сил, но Юдена все еще была впереди.

Уф-Ломи и Юдена знали, что им не будет пощады. Для первобытных людей не было более приятной охоты, чем охота за людьми. Лишь только загоралась свирепая жажда охоты, тотчас же бесследно пропадали у них все слабые проблески человечности. Ночью Уйя отметил Уф-Ломи словом смерти—и Уф-Ломи должен был стать добычей дня, предназначенной для пира.

Они бежали напрямик, не разбирая дороги—это было их единственным спасением, бежали по пространству, заросшему колючей крапивой, по открытой поляне, по травянистой заросли, из которой, рыча выскочила гиена. Потом снова лес, большие тенистые пространства, лишайники и мох под зелеными стволами; потом—крутой склон, поросший деревьями, длинная просека, черная топь, покрытая зеленью, и снова открытое место, и заросль колючего терновника с тропинками, проложенными дикими зверями. За ними гнались отчасти уже оставшие преследователи, но Уйя все еще мчался по пятам. Юдена бежала легло, несколько не задыхаясь, по-прежнему впереди всех, потому что у Уф-Ломи в руке был Камень Огня.

Это отразилось на его скорости не сразу, но спустя некоторое время он стал отставать. Услышав это и взглянув через плечо в то время, как они пересекали открытое пространство, Юдена увидела, что Уф-Ломи—на много ярдов позади нее, а Уйя—уже совсем близко от Уф-Ломи и уже поднял олений рог, чтоб нанести ему удар. Уау и остальные преследователи только что показались на опушке леса.

Увидав, что Уф-Ломи угрожает опасность, Юдена, все еще глядя назад, бросилась в сторону и, подняв вверх обе руки, громко крикнула; это было как раз в тот момент, когда олений рог взвился в воздухе. Ожидавший этого молодой Уф-Ломи понял крик Юдену и нагнул голову, так что метательный снаряд, только слегка задев и нанеся ни-

чтожную рану, перелетел через Уф-Ломи. Он тотчас же повернулся и, схватив обеими руками кварцевый Камень Огня, со всего размаха швырнул его прямо в Уйю. Уйя, кинув олений рог в Уф-Ломи, все еще продолжал бежать. Он увидел камень, закричал, но увернуться не успел. Тяжелый плоский камень ударил его под ребра; он пошатнулся и, не вскрикнув, упал на землю. Уф-Ломи поднял рог, одно острие которого было окрашено его же собственной кровью, и снова пустился бежать. Красная струйка с волос сбегала прямо на лицо Уф-Ломи.

Уйя дважды перевернулся и с минуту лежал без движения, прежде чем ему удалось снова подняться на ноги. После этого он уже побежал медленно. Краска сошла с его лица. Его перегнал Уау, а затем и другие; Уйя кашлял и с трудом переводил дух, но все же продолжал погоню.

Наконец оба беглеца достигли берега реки в том месте, где она была узка и глубока. Они все еще находились ярдов на пятьдесят впереди Уау, кремнетеса, самого близкого из преследователей. В каждой руке у него было по большому кремню, остро обточенному в виде устричной раковины, но раза в два больше такой раковины.

С крутого берега реки Уф-Ломи и Юдена кинулись прямо в воду, стремительно поплыли и пересекли глубокую реку двумя или тремя взмахами; мокрые и освеженные вышли на противоположный берег. Он был подмыт водой и весь густо зарос ивами, так что было очень трудно вскарабкаться вверх. Когда Юдена была еще среди серебристых ивовых ветвей, а Уф-Ломи в воде, — рог мешал ему итти — вверх на противоположном берегу показался Уау, и метко брошенный им камень попал сбоку в колено Юдену. С большими усилиями она взобралась вверх и упала.

Они слышали, как их преследователи перекликались между собой. Уф-Ломи, пробиравшийся к Юдене и все время двигавшийся скачками, чтобы не дать прицелиться, Уау вдруг почувствовал, как второй метательный камень задел его ухо и шлепнулся в воду где-то позади.

В эту минуту юноша Уф-Ломи показал, что он уже мужчина. Пустившись бежать дальше и заметив, что хромавшая Юдена отстает от него, он повернул назад с диким криком; лицо у него было прямо страшное — от внезапной вспышки гнева и от струящейся крови; он быстро пробежал мимо Юдену обратно к берегу, размахивая оленьим рогом над своей головой. Юдена все еще продолжала бежать вперед, хотя от сильной боли в ноге прихрамывала на каждом шагу.

Достигнув ближайшего берега и цепляясь за свисавшие ивовые ветви, Уау вдруг увидел Уф-Ломи. Уф-Ломи стоял прямо над ним и показался ему гигантской фигурой на голубом фоне неба. Уау увидел: все тело Уф-Ломи перегнулось, руки крепко вцепились в олений рог. Острые рога свистя прорезало воздух — и Уау уже больше ничего не видел. Вода под ивами забурлила, заволновалась и заалела на шесть футов вниз по реке. Уйя, бежавший сзади Уау, остановился по колено в воде, а другой человек, уже переплывавший реку, быстро повернул обратно.

Остальные, оставшие преследователи (никто из них не был очень силен, потому что Уйя, скорее хитрый, чем смелый, не выносил сильных соперников) тотчас же остановились при виде окровавленного и ужасного Уф-Ломи, который, загораживая собой хромавшую Юдену, стоял над ивами и размахивал огромным рогом. Казалось, что он вошел в реку юношей, а вышел из нее вполне зрелым мужем.

Он знал, что находилось позади него. Там было обширное, поросшее травой пространство, а еще дальше — лесная чаща, в которой Юдена могла спрятаться. Это ясно представлялось уму Уф-Ломи, хотя его мыслительные способности были слишком слабы, чтоб судить о дальнейшем. Уйя стоял по колено в воде, нерешительный и безоружный. Его большой рот был открыт, видны были его собачьи зубы; он тяжело дышал. Бок у него был сине-багровый под шерстью. У стоявшего рядом с ним человека была в руках заостренная палка. Остальные преследователи подходили к высокому берегу один за другим, косматые, длиннорукие, с кремнями и палками в руках. Двое из них побежали вдоль берега по течению реки и бросились в воду туда, где, всплыв на поверхность, слабо барахтался Уау. Но прежде чем они успели его схватить, он снова исчез под водою. Двое оставшихся на берегу осыпали Уф-Ломи бранью и угрозами.

Он отвечал им криками, ругательствами, жестами. Все еще стоявший в нерешительности, Уйя заревел от ярости и, махая кулаками, нырнул в воду. Его спутники бросились за ним.

Взглянув через плечо, Уф-Ломи увидел, что Юдена уже почти исчезла в чаще леса. Быть может, он и подождал бы Уйю, но тот предпочитал браниться, стоя внизу в воде и поджидая остальных. В те дни человеческая тактика во всяком серьезном бою была тактикой стада. Загнав дичь в безвыходное место, ее окружали, и все вместе кидались на нее. Предчувствовавший такое нападение, Уф-Ломи швырнул рогом в Уйю, повернулся и убежал.

Остановившись у чащи деревьев, чтоб оглянуться назад, Уф-Ломи увидел, что только трое из его преследователей переплыли на другой берег, да и те уже возвращались обратно. Уйя со струящейся изо рта кровью был снова на противоположном берегу реки, но уже значительно ниже по течению; он держался рукою за бок. Остальные стояли в реке и тащили что-то на берег. Во всяком случае, хоть на время погоня была прекращена.

Уф-Ломи стоял все на том же месте и рычал при виде Уйи. Затем повернулся и бросился в чашу леса.

Через минуту к нему подбежала Юдена, и рука об руку они отправились дальше. Он смутно сознавал, что ей больно от рассеченного и ушибленного колена, и выбирал путь поудобней. Все-таки они шли весь этот день, миля за милей, через леса и заросли, пока наконец не дошли до известняковой долины. Тут были поросшие травой открытые пространства, с редкими буковыми деревьями и растущими около воды березами. Беглецы увидели перед собою Уэлденские горы и стадо пасущихся лошадей. Уф-Ломи и Юдена осторожно подвигались вперед, держась все время около зарослей и логовищ, так как это была совершенно незнакомая для них страна и все в ней было ново и странно. Местность постепенно все поднималась, и наконец внизу широкой синеватой полосой раскинулись каштановые леса и засеребрились далекие болота Темзы. Людей не попадалось: в те времена люди только что появились в этой части света и медленно подвигались вперед вдоль водных путей. К вечеру беглецы снова подошли к реке; река протекала теперь в долине между высокими, белыми меловыми скалами, свешивавшимися кое-где над водой. Под скалами росли низкорослые березы, в которых ютилось множество птиц. Высоко, на верху одной скалы, под деревом был небольшой выступ; сюда-то и забрались Уф-Ломи и Юдена, чтоб провести ночь.

Они почти ничего не ели весь этот день. Ягоды еще не появились, а у них не было времени расставить силки или подстеречь какое-нибудь животное. Голодные, усталые, молчаливые тащились они, обгладывая ветви и листья. Но на поверхности скал они нашли множество улиток, а в кустарнике—только что снесенные яйца какой-то маленькой птички. Затем Уф-Ломи камнем убил сидевшую на буковом дереве белку, так что в конце-концов они сытно поели. В продолжение ночи Уф-Ломи сторожил, опустив голову на колени. Он слышал недалеко от себя крики молодых лисиц, шум и возню мамонтов внизу и где-то вдалеке—смею-

щийся визг гиены. Было холодно, но они не решались зажечь огонь. Лишь только Уф-Ломи начинал дремать, его душа отправлялась странствовать и тотчас встречала душу Уйи, и они принимались драться. Всякий раз Уф-Ломи чувствовал себя совершенно парализованным, не мог ни ударить Уйю ни убежать—и внезапно просыпался. Юдена тоже видела страшные сны про Уйю, в конце концов и Уф-Ломи, и Юдена проснулись в страхе, когда еще только начинало светать; проснулись и увидели: внизу в долине бродит заблудившийся косматый носорог.

Весь день они ласкали друг друга и радовались солнечному свету. Нога Юдены так одеревенела, что она целый день пролежала на выступе утеса. Уф-Ломи заметил на поверхности скалы большие торчащие кремни, такие большие, каких он еще никогда в жизни не видел. Он вытащил некоторые из этих камней и принялся обтачивать, чтоб иметь оружие против Уйи, когда тот снова появится. Над одним кремнем Уф-Ломи от души смеялся, Юдена также смеялась, и они, шутя, бросали его друг другу. В этом кремне была дыра. Они просовывали в нее свои пальцы, и это было, действительно, очень смешно. Затем они принялись смотреть друг на друга через дырку в кремне. Найдя палку и случайно ткнув ею в этот смешной кремнь, Уф-Ломи как раз попал в дырку и палка застряла в ней. Он так крепко воткнул палку, что уже не мог ее вытащить. Это было еще удивительнее, нежели смешно и почти страшно, так что некоторое время Уф-Ломи не решался прикоснуться к странному предмету. Казалось, будто кремнь укусил палку и вцепился в нее зубами. Но потом Уф-Ломи привык к этому и принялся размахивать палкой. Тут он заметил, что с тяжелым кремнем на конце палка лучше наносила удары, чем всякое известное ему до сих пор оружие, он ходил взад и вперед, размахивая и ударяя по чем попало этим новым оружием. Наконец это ему надоело, и он швырнул палку в сторону. Вечером он взобрался на край белой скалы и лег, наблюдая за кроликами и поджидая, чтобы они пришли играть на своем излюбленном месте. Здесь совершенно не было людей и потому кролики не были пугливы. В одного Уф-Ломи бросил обточенным камнем и убил кролика.

В эту ночь сделали костер из листьев папоротника, зажгли его искрами от кремня и возле костра разговаривали и ласкались. Во сне к ним снова явился дух Уйи; Уф-Ломи опять тщетно пытался бороться с ним, но тут вдруг попалась под руку палка с смешным кремнем и, ударив палкой Уйю, Уф-Ломи убил его. Потом пришли другие сны про Уйю и

Уйя снова был убит, так как духов можно убивать много раз. После этого кремьнь уже не хотел больше держаться зубами за палку. Усталый и мрачный проснулся Уф-Ломи и все утро был задумчив, несмотря на нежности и ласки Юдену. Вместо того, чтоб идти на охоту, он сел и принялся оттачивать край своего удивительного кремня, поглядывая на Юдену со странным выражением на лице. Затем, привязав просверленный кремьнь к палке полосками кроличьей кожи, он принялся шагать взад и вперед по выступу скалы, ударяя кремнем по чем попало, бормоча что-то про себя и думая об Уйе; Уф-Ломи было так ловко держать это тяжелое оружие в руке.

Несколько дней—больше, чем умели считать в то время—пять дней, может быть, шесть, оставались Уф-Ломи и Юдена на выступе скалы у узкой части реки. Они перестали бояться людей, и их костер горел красноватым пламенем каждую ночь. Им было весело вдвоем, каждый день у них была пища, пресная вода и не было никаких врагов. Колено у Юдену зажило в два-три дня: у первобытных дикарей раны заживали чрезвычайно быстро. Они были очень счастливы.

В один из этих дней Уф-Ломи бросил со скалы кремневый валун. Уф-Ломи видел, как он упал и, прыгая по берегу, покотился в реку. Смеясь и думая, что этого камня уже не найти, Уф-Ломи бросил другой. Этот очень забавно раздробил куст орешника. Так они провели все утро, бросая вниз с своего выступа кремневые валуны, а после полудня открыли, что этой новой, веселой игрой можно развлекаться также и забравшись на самую вершину утеса. Впрочем, на следующий день они уже забыли об этом удовольствии, или, по крайней мере, им показалось, что забыли.

Но Уйя продолжал приходить к ним во сне и портил этот рай. Три ночи под ряд приходил он бороться с Уф-Ломи. Утром, после таких снов, Уф-Ломи бегал взад и вперед, грозя и размахивая своим топором. Наконец однажды ночью, после того как Уф-Ломи раздробил голову выдре и оба они хорошо наелись, Уйя зашел слишком далеко. Уф-Ломи проснулся, нахмурил свои густые брови, взял свой топор, протянул руку к Юдене и велел ей ждать на этом месте. А сам спустился вниз по белому склону, снизу—еще раз взглянул на Юдену, взмахнул топором и, уже больше не оглядываясь, пошел вдоль берега реки, пока нависшая скала не скрыла его из виду.

Два дня и две ночи сидела Юдена у огня на выступе скалы, ожидая Уф-Ломи. Каждую ночь вверх на утесах и внизу в долине завывали звери. На скале напротив черными

силуэтами вырисовывались на фоне неба сторбленные гиены, высматривавшие себе пищу. Но, кроме страха, Юдена не испытала ничего дурного. Один раз издали она услышала рычанье льва: лев преследовал лошадей, подвигавшихся вместе с весной к северу на луга. Все время Юдена ждала, а ожидание всегда мучительно.

На третий день Уф-Ломи вернулся назад. В волосах у него торчали перья вороны. Первый топор был запятнан кровью и на нем висели длинные черные волосы. В руке Уф-Ломи держал ожерелье, отличавшее до сих пор подругу Уйи. Он смело шел по мягкому лугу, не стараясь скрывать своих следов. Кроме свежей раны под челюстью, у Уф-Ломи не было заметно никаких повреждений. „Уйя!“ восторженно крикнул Уф-Ломи, и Юдена поняла, что все кончилось хорошо.

Уф-Ломи надел на нее ожерелье, и они снова ели и пили вместе. Окончив еду, Уф-Ломи принялся рассказывать все происшедшее с самого начала, с того момента, как Уйя бросил свой взгляд на Юдену, и как Уф-Ломи из-за этого схватился с Уйей в лесу, и как затем оба они должны были бежать от медведя. Недостаток в словах Уф-Ломи пополнял обильной мимикой, вскакивая на ноги и яростно размахивая каменным топором, когда дело доходило до описания битв. Толая и крича, Уф-Ломи принялся описывать последний страшный бой и при этом так ударил топором по костру, что целые потоки искр понеслись в ночную тьму. А Юдена сидела у костра, вся облитая красноватым светом, пожирая Уф-Ломи глазами; лицо у нее горело, глаза сверкали, а вокруг шеи у нее было ожерелье Уйи. Это была великолепная ночь, и звезды, смотрящие теперь на нас, смотрели тогда на нее—нашего предка, умершего пятьдесят тысяч лет назад.

II

ПЕЩЕРНЫЙ МЕДВЕДЬ

В те дни, когда Юдена и Уф-Ломи бежали от племени Уйи через каштановые леса и луга к покрытым хвойными лесами горам Уэлда и укрылись наконец в долине реки между меловыми скалами, людей было еще немного и их становища отстояли далеко друг от друга.

Ближайшими к ним людьми были люди из их собственного племени, да и те были в расстоянии целого дня пути вниз по реке, а вверх на горах еще никогда не ступала

нога человека. В те давно прошедшие времена человек только что пришел в эту новую для него часть земного шара. Люди медленно подвигались, поколение за поколением, вдоль рек, в юго-западном направлении от одного жилого места к другому. Владевшие страной животные-гиппопотамы и носороги в долинах рек, лошади на луговых равнинах, олени и вепри в лесах, серые обезьяны в ветвях деревьев, рогатый скот на возвышенностях—мало боялись человека, не говоря уже о живших в горах мамонтах или о приходивших сюда с юга на лето слонах. Да и чего бояться, когда у человека не было ничего, кроме грубо обтесанных кремней и жалких деревянных копий; это было единственным оружием, которое он мог противопоставить, да и то неискусно, копытам и рогам, зубам и когтям зверей.

Огромный пещерный медведь Анду, живший в своем логовище на крутом берегу реки, за всю свою почтенную и мудрую жизнь ни разу еще не видел человека. И вот, однажды ночью, когда он, высматривая добычу, шел по краю скалы, он увидел свет от костра Юдены и ее самое, красную и сияющую, и Уф-Ломи, бегавшего у костра взад и вперед, и рядом с Уф-Ломи гигантскую тень, передразнивавшую все его движения. Уф-Ломи воспевал убийство Уйи, потрясая копной своих волос и размахивая каменным топором—первым каменным топором человека. Пещерный медведь был далеко в верхней части долины и увидел все это сбоку и издали. Он был так поражен, что остановился как вкопанный на краю обрыва, втягивая в себя незнакомый запах горящих папоротников и с недоумением спрашивая себя: не взойшла ли на этот раз заря по ошибке не на своем месте?

Он был владыкой скал и пещер, он был пещерный медведь, в то время, как его младший брат, Гризли, владел расстилающимися внизу дремучими лесами, а пятнистый лев—лев в те времена был пятнист—был властелином терновых зарослей, тростников и равнин. Анду был самым сильным из всех плотоядных: он не знал страха, никто не охотился за ним, и никто не сопротивлялся ему, один только носорог не по силам ему. Даже мамонт уходил из его владений. И это вторжение каких-то новых существ смутило его. Он заметил, что эти новые зверьки походили по виду на обезьян и так же, как у поросят, на теле у них было мало волос. „Обезьяна и поросенок“,—сказал себе пещерный медведь.—„Это должно быть, недурно. Но что это за красный прыгающий цветок и большой черный предмет, прыгающий вон там. Ни разу в жизни не видал я ничего подобного!“

Он медленно направился к костру по краю обрыва; трижды он останавливался, чтобы посмотреть и понюхать: дым от огня становился все сильнее и сильнее. Пара гиен до такой степени была поглощена созерцанием того же самого невиданного зрелища, что Анду, шаги которого были легки и почти неслышны, вплотную подошел к ним,—и только тут гиены заметили Анду и он их заметил. Они отскочили с виноватым видом и, съежившись, убежали. Отойдя в сторону на приличное расстояние, ярдов на сто, они начали визжать и браниться, вымещая на Анду свой испуг. „Уа-ха!“—кричали они. „Кто не умеет сам себе вырыть берлогу? Кто, как свинья, питается корнями? Уа-ха!“ Даже и в те дни нравы и обычаи гиен были точно так же нахальны, как и теперь.

— „Разве кто-нибудь отвечает гиене?“—рычал Анду, поглядывая в сторону гиен сквозь ночную темноту и продолжая подвигаться к выступу скалы.

Там стоял Уф-Ломи, все еще рассказывавший о происшедшем, между тем, как костер уже догорал и запах гари становился все сильнее и сильнее.

Некоторое время Анду стоял на краю меловой скалы, переминаясь с ноги на ногу и мотая головой. Он разинул пасть, наострил уши и втягивал воздух ноздрями своей огромной черной морды. Он был очень любопытен, этот пещерный медведь, куда более любопытен, чем какой-нибудь медведь нашего времени. Этот мерцавший огонь, непонятные жесты человека,—не говоря уже о вторжении его в область, где до сих пор безраздельно царил Анду,—все это вызывало у медведя предчувствие необычайных событий: В этот вечер он собирался, было, поохотиться за молодой ланью—пещерный медведь любил разнообразие в своих охотах—но, увидев людей, отложил задуманное предприятие.

— „Уа-ха!“—визжали позади него гиены.— „Уа-ха-ха!“

При свете звезд Анду рассмотрел, что теперь уже три или четыре гиены рыскали по склону холма. „Они будут шататься за мной по пятам всю ночь... пока я чего-нибудь не убью“,—сказал себе Анду,—„Грязные твари!“—И, чтоб досадить им, он решил наблюдать за красноватым светом, мерцавшим в долине,—наблюдать до тех пор, пока рассвет не прогонит домой этих гиен.

Через некоторое время они исчезли; Анду слышал их голоса уже где-то далеко в буковых лесах. Потом они снова подкрались ближе. Анду зевнул, пошел вдоль утесов—гиены за ним. Тогда он остановился и пошел обратно.

Была чудесная ночь, небо было усеяно сверкающими

созвездиями, но это были не те созвездия, которые известны нам: с тех пор звезды успели перейти на новые места. Далеко за открытой равниной, где рыскали тощие сгорбленные гиены, находился буковый лес. За лесом, вдали, склоны гор подымались неясной и таинственной массой, пока их снежные вершины не выступили отчетливо—белые, холодные, ясные: взошла еще невидимая внизу, в долине, луна и своими первыми лучами чуть тронула вершины гор. Кругом было глубокое молчание. Оно нарушалось по временам только визгом гиен, который диссонансом прорезал ночную тишину, да изредка утренний ветерок доносил с холмов трубные звуки недавно пришедших в эту местность слонов.

Красный свет костра замигал от брошенной в него новой охапки сухого папоротника и снова стал ровным и еще более красным. Уф-Ломи кончил свой рассказ и укладывался спать, а Юдена все еще сидела, слушая странные голоса незнакомых ей зверей и наблюдая, как вместе с восходом луны, темная восточная часть неба становилась все более и более синеватой и светящейся. Внизу река вела свой немолчный разговор, и невидимые ночные существа бесшумно пробегали здесь и там.

Постояв немного, Анду пошел назад, но через минуту снова вернулся. Как бы пораженный какой-то внезапной мыслью, он пошел вверх по долине.

Ночь проходила, а Уф-Ломи продолжал спать. Ущербленная луна поднималась на небе, и ее бледный, таинственный свет озарил наконец белую острую вершину утеса. Долина реки оставалась в полной темноте и даже казалась еще мрачнее. Понемногу к лунному свету стали незаметно примешиваться легкие оттенки разгоравшейся зари. Глаза Юдены все возвращались к нависшей над ее головой вершине скалы. Каждый раз, как Юдена взглядывала на скалу, очертания ее вырисовывались на фоне неба очень отчетливо и остро, но Юдену все же не покидало смутное ощущение, что там, на скале, притаилось что-то. Красное пламя костра становилось все темнее и темнее и покрывалось серым налетом; вертикальный столб дыма делался все более заметным и невидимые до сих пор предметы в том и другом конце долины стали все яснее вырисовываться в бледном освещении утра. Незаметно Юдена задремала.

Вдруг она вскочила и, выпрямившись, насторожившись, внимательным взглядом осмотрела утес сверху до низу.

Она издала еле слышный звук, и Уф-Ломи, сон которого был чуток, как у животного, тотчас же проснулся. Он схватил свой топор и неслышно стал рядом с Юденкой.

Было еще довольно темно. Земля была покрыта черными и темно-серыми тенями, а на небе еще сияла последняя замешкавшаяся звезда. Выступ, на котором они находились, представлял из себя небольшое, поросшее травой, пространство около шести футов в ширину и двадцати в длину. Спускающийся отсюда в долину склон, зарос чернойбыльником. Дальше мягкая, белая скала спадала вниз крутым откосом, вышиною футов в пятьдесят, и заканчивалась густыми зарослями орешника, окаймлявшими реку. Вниз по течению этот откос раскидывался все шире и тощая растительность постепенно поднималась на нем все выше, вплоть до самого края утеса. Вверху, на расстоянии сорока или пятидесяти футов, скала выдавалась вперед огромными, характерными для меловых отложений, глыбами, но с одного края овраг—обрывистая промоина в бесцветном камне—прорезывала переднюю часть скалы; в этом овраге была кой-какая жалкая растительность, цепляясь за которую Юдена и Уф-Ломи спускались и поднимались.

Сейчас они притаились, как напуганные олени и замерли в ожидании. С минуту они ничего не слышали, потом со стороны оврага послышался шорох осыпающейся земли и треск ветвей.

Уф-Ломи схватил топор и подошел к краю выступа, потому что нависшие над головой меловые глыбы закрывали верхнюю часть оврага. И вдруг сердце у него судорожно сжалось: он увидел пещерного медведя, медведь осторожно пятясь, сверху спускался сюда к ним на своих плоских лапах. Эти лапы были теперь как раз над Уф-Ломи; медведь так вцепился в камни и кустарники, что, казалось, совершенно прирос к скале. Но от этого он нисколько не казался меньше. От блестящей его морды до короткого, как бы обрубленного хвоста, он был в полтора раза больше льва и в два раза выше рослого человека. Он смотрел через плечо, его огромная пасть была разинута от усилия удержать в равновесии грузное тело, язык высунут наружу.

Найдя опору для ноги, Анду медленно спустился еще на один ярд ниже.

—„Медведь!“—сказал Уф-Ломи, осматриваясь вокруг с побледневшим лицом.

Юдена, со страхом в глазах, указывала пальцем вниз.

Уф-Ломи так и разинул рот. Там внизу, опираясь передними лапами на скалу, стояла другая огромная буровато-серая туша—медведица. Она была меньше Анду, но все же это было огромное животное.

Внезапно вскрикнув и схватив охапку разбросанных по выступу папоротников, Уф-Ломи бросил ее в догорающую золу костра. — „Брат-Огоны!“ — крикнул он — „Брат-Огоны!“ Выйдя из оцепенения, Юдена помогала Уф-Ломи: — „Брат-Огоны! Помоги, помоги! Брат-Огоны!“

Сердце Брата-Огня еще краснело, но стало серым, когда они забросали его. „Брат-Огоны!“ — в иступлении кричали они. Но костер шипел, потухал и вот уже одна только зола. Уф-Ломи гневно затопал ногами и ударил кулаком по золе. Юдена принялась высекать огонь из кремня. Глаза их все время не отрывались от промоины, по которой сползал вниз медведь Анду. „Брат-Огоны!“

Вдруг косматые ноги медведя показались из-за меловых глыб, до сих пор скрывавших его. Он все еще осторожно спускался по почти вертикальной поверхности, головы его не было видно, но уже ясно слышалось его глухое ворчание. „Поросенок и обезьяна“, — говорил пещерный медведь. — „Это должно быть вкусно“.

Юдена наконец высекла искру и старательно раздувала ее; искра вспыхнула на минуту и снова погасла. Юдена бросила огниво и кремень и растерянно глядела кругом. Потом, вскочив на ноги, вскарабкалась на ярд или два вверх по утесу. Как она могла повиснуть здесь даже на мгновение, нельзя понять, потому что скала была совершенно вертикальна, и тут даже обезьяне не за что было ухватиться. Через две-три секунды Юдена соскользнула обратно на свой выступ с окровавленными руками.

Уф-Ломи бешено метался взад и вперед, бросаясь то к краю выступа, то к оврагу. Он не знал что делать, он совсем потерял голову. Медведица казалась меньше самца — гораздо меньше. Если бы оба — Уф-Ломи и Юдена одновременно кинулись на медведицу вниз — один мог бы остаться в живых. „Ух!“ — охнул пещерный медведь, и Уф-Ломи, обернувшись, увидел его маленькие глазки, смотрящие из под меловых глыб.

Прижавшись к краю выступа, Юдена завизжала, как пойманный кролик. При этом визге Уф-Ломи прямо обезумел. С страшным воплем схватил он топор и кинулся на Анду. Чудовище зарычало от изумления. Во мгновение ока Уф-Ломи уцепился за куст прямо под медведем, а еще через секунду он уже висел на спине медведя, наполовину зарывшись в его мех, и ухватившись одной рукой за косматую шерсть под челюстью зверя. Медведь был так поражен этим странным нападением, что не мог даже защищаться и только

еще крепче вцепился в кусты. И вдруг топор, первый человеческий топор, ударился о его череп.

Медведь замахал головой и громко, яростно заревел. Топор рассек ему кожу на дюйм от левого глаза, и горячая кровь мешала ему видеть с этой стороны. Разгневанный и удивленный медведь еще раз зарычал и щелкнул зубами прямо перед лицом Уф-Ломи. Топор еще раз поднялся — и тяжело опустился на челюсть медведя.

Следующий удар ослепил его правый глаз и вызвал новый рев — на этот раз уже от боли. Юдена увидела, как большие плоские лапы медведя скользнули и поползли вниз, а сам он внезапно сделал неуклюжий прыжок в сторону, как будто стараясь попасть на выступ. Затем все исчезло: раздался треск ломающегося орешника, и снизу донесся рев боли, крики и рычание.

Юдена с воплем подбежала к краю выступа и взглянула через него вниз. На минуту ей показалось, что человек и оба медведя слились в одну кучу — и в этой куче Уф-Ломи был сверху. Потом он отскочил и стал взбираться вверх по оврагу, а медведи катались и дрались друг с другом среди орешника. Но топор Уф-Ломи остался в овраге и три кровавые полосы сбегали вниз по бедру. „Наверх!“ — крикнул он, и тотчас же Юдена начала карабкаться впереди его на вершину скалы.

Через полминуты они уже взобрались на утес. Сердца их сильно стучали, но они были в безопасности, так как Анду и его жена находились далеко внизу. Анду сидел на задних лапах, работая передними: быстрыми, отчаянными движениями лап, он старался протереть свои ослепленные глаза. Разъяренная медведица стояла на четвереньках немного подалее и злобно рычала. Уф-Ломи кинулся на траву ничком и, уткнув лицо в руки, лежал, с трудом переводя дыхание и обливаясь кровью.

Юдена еще раз взглянула на медведей, а затем подошла, села рядом с Уф-Ломи и стала смотреть на него, не спуская глаз.

Потом она робко протянула руку и, коснувшись его, издала горловой звук, означавший имя Уф-Ломи. Он повернулся и приподнялся, опираясь на руку. Лицо его было бледно, какое бывает у перепуганного человека. С минуту он пристально смотрел на Юдену — и вдруг засмеялся.

— „Уоф!“, — восторженно воскликнул он.

— „Уоф!“ — воскликнула она — простой, но красноречивый разговор.

Затем Уф-Ломи встал, опустился на колени рядом с Юденной

и, стоя на четвереньках, посмотрел через обрыв на речную долину. Его дыхание стало ровнее и кровь перестала струиться по ноге, хотя нанесенные медведицей царапины, были широки и глубоки. Севши на корточки, Уф-Ломи внимательно разглядывал следы медведя: они шли здесь к оврагу—и были шириной в его голову и раза в два длиннее ее. Затем Уф-Ломи вскочил и по переднему краю утеса пробрался до того места, откуда еще можно было видеть выступ. Несколько времени он просидел здесь размышляя, а Юдена молча смотрела на него. Тут она заметила, что медведи уже ушли.

Наконец Уф-Ломи встал с видом человека, принявшего определенное решение. Он вернулся к оврагу, Юдена следовала за ним по пятам; они оба вскарабкались на выступ. Потом подняли огниво и кремьнь; Уф-Ломи с большой осторожностью спустился к подножию скалы и там отыскал свой топор. Стараясь ступать как можно тише, вернулись они на утес и быстро отправились в путь. Выступ утеса не мог больше служить им жилищем: каждый момент их опять могли посетить опасные соседи. Уф-Ломи нес топор, Юдена — огниво. Так просто совершалось переселение в палеолитический период.

Они пошли вверх по течению реки; этот путь мог привести их прямо в берлогу пещерного медведя, но другой дороги у них не было. Вниз по течению находилось становище их племени, а разве Уф-Ломи не убил Уйю и Уау? А чтобы иметь воду для питья—им волей-неволей приходилось держаться русла реки.

Так шли они между буковыми деревьями вдоль берега реки, становившейся все глубже и глубже; наконец пенящая и быстрая река оказалась на пятьсот футов под ними. Из всех изменчивых вещей этого изменчивого света—течение рек в глубоких долинах изменяется меньше всего. Это была река Уэй, такая, какой мы знаем ее и теперь, и они шли—первые человеческие существа, явившиеся в эту страну,—по тем самым местам, где теперь находятся городки Гильфорд и Годальмин. Только серая обезьяна попала им навстречу; она забормотала и исчезла, а вдоль длинного и ровного края утеса все время бежали следы большого пещерного медведя.

И вдруг эти следы исчезли с утесов. Увидя это, Уф-Ломи подумал, что медведь ушел влево. Продолжая держаться края скал, Уф-Ломи и Юдена скоро дошли до их конца и увидели под собою большое полукруглое пространство, образовавшееся после обвала утеса. Он свалился прямо поперек долины, запрудив реку: река разлилась, образовались

пороги. Обвал произошел уже давно. Место обвала уже густо поросло травой, но полукруглая поверхность утеса была еще все такой же свежей и белой, как в тот день, когда скала треснула и сползла вниз. У подножия утеса чернело несколько пещер—они были ясно видны. Уф-Ломи и Юдена стояли, смотря на полукруг; они боялись двинуться в обход этого полукруга, так как предполагали, что берлога медведя должна находиться где-нибудь влево по тому же направлению, куда им приходилось идти. И тут вдруг увидели они сначала одного, а затем и другого медведя: немного поправей, по поросшему травой откосу, медведи поднимались прямо к пещерам. Анду шел впереди, слегка хромя на переднюю лапу. У него был унылый вид, а за ним, волоча ноги, плелась медведица.

Юдена и Уф-Ломи поспешно отступили прочь от обрыва, пока не отошли настолько, что медведи только чуть-чуть виднелись. Тут Уф-Ломи остановился. Юдена дернула его за руку, но он повернулся к ней с предостерегающим жестом, и ее рука тотчас же опустилась. Уф-Ломи стоял с топором в руке и следил за медведями до тех пор, пока они не скрылись в пещере. Он тихонько прорычал что-то и взмахнул своим топором при виде входящей в пещеру медведицы. Затем, к ужасу Юдены, вместо того, чтобы поскорее уйти с нею отсюда, он лег плашмя на землю и стал медленно подвигаться вперед к реке до того самого места, откуда можно было наблюдать за пещерой. Это были медведи—а Уф-Ломи предельно все так спокойно, как будто подстерегал кроликов.

Он лежал под тенью деревьев неподвижный, похожий на выброшенное на берег бревно; на нем играли солнечные пятна. Он думал. А Юдена еще с того времени, когда была девочкой, знала: когда Уф-Ломи делался таким молчаливым, как сейчас, и лежал, подперев кулаками подбородок, то это означало, что произойдет что-нибудь особенное.

Прошел час, прежде чем он окончил свои размышления. Еще в полдень эти два маленьких дикаря дошли до берегового обрыва, висевшего над медвежьей пещерой.

Все долгое время до заката солнца они с остервенением работали над огромной меловой глыбой. Никакого другого орудия, кроме их крепких мускулов, у них не было—и все же они сумели от холма, над которым глыба торчала, как шатающийся зуб, протащить ее до самого края обрыва. Меловая глыба была добрых два ярда в обхвате, высотой по самую грудь Юдены, тупоугольная и вся усаженная кремнями. А когда зашло солнце, она уже лежала в трех дюймах от отрыва над самой пещерой страшных медведей.

В пещере беседа в этот вечер шла вяло. Медведица угрюмо сопела в своем углу—она любила поросенка и обезьяну—а Анду старательно облизывал свою лапу и проводил ею по морде, чтоб охладить жгучую боль в своих воспалившихся ранах. Потом он вышел и сел как раз у входа пещеры, шурясь поглядывая своим неповрежденным глазом на вечернее солнце и думал.

— „Ни разу в жизни не был я так озадачен“,—сказал он наконец.—„Это какие-то необыкновенные звери. Напасть на меня!“

— „Мне они не нравятся“,—из темной глубины проворчала медведица.

— „Более слабой породы животных я еще *никогда* не видел. Не понимаю, куда идет мир. Тощие, голые ноги... Удивляюсь, как это они согреваются зимой?“

— „Очень вероятно, что и совсем не согреваются“,—заметила медведица.

— „Мне думается, что это просто неудавшаяся порода обезьян“.

— „Да, разновидность“—сказала медведица.

Пауза.

— „А то, что он одолел меня—это простая случайность“—сказал Анду.—„Это бывает по временам“.

— „Не понимаю, зачем ты дал ему убежать“,—сказала медведица.

Но этот вопрос уже обсуждался ранее, с этим было покончено. Анду, как опытный медведь, помолчал некоторое время. Потом возобновил разговор с новой точки зрения.

— „У него особого рода коготь—длинный коготь, короткий, казалось, был сперва на одной его лапе; а потом на другой. Только один коготь. Станные существа. Им, кажется, принадлежит тоже и этот блестящий предмет, похожий на тот ослепительный свет, что ходит по небу днем только у них этот свет прыгает. Это, действительно, стоит посмотреть. Он с корнями, и еще—похож на траву, когда ветрено“.

— „Он кусается?“—спросила медведица.— „Если он кусается, то не может быть растением“.

— „Нет... я не знаю“,—ответил Анду.—„Во всяком случае, это любопытно“.

— „Хотелось бы мне знать, вкусны ли они?“—сказала медведица.

— „Похоже на то“,—отвечал Анду—и ему захотелось есть: пещерный медведь, как и полярный, был неисправимым плотоядным; мед и коренья—не по его вкусу.

Оба медведя на некоторое время углубились в размышления. Затем Анду опять принялся домашними средствами лечить свой глаз.

Солнечный свет заливал теплыми лучами зеленый откос, находившийся перед входом в пещеру, пока он не стал красновато-янтарного цвета.

— „Странная это вещь—день“,—рассуждал пещерный медведь.—„Только длинен слишком по моему. Совершенно не годится для охоты. Всегда меня ослепляет. Днем я почти теряю обоняние“.

Медведица ничего не отвечала, из темноты пещеры слышалось мерное хрустение. Она обглаживала кость. Анду зевнул. „Ладно“—сказал он, подошел к выходу из пещеры, вытянул вперед голову и стал осматривать полукруг береговых утесов. Он заметил, что ему приходится поворачивать голову, чтоб видеть предметы на правой стороне. Но, без сомнения, завтра глаз пройдет.

Он снова зевнул. Над головой его послышался шум,—большая меловая глыба сорвалась с передней части утеса, упала на расстоянии ярда—перед самым носом медведя—и разбилась в мелкие неровные кусочки. Это очень испугало Анду.

Оправившись от испуга, он подошел и с любопытством стал обнюхивать внушительные куски упавшей глыбы. Куски эти пахли чем-то особенным, и этот запах странно напоминал двух скверных зверьков на выступе. Анду сел, тронул лапой самый большой осколок, потом обошел вокруг него несколько раз: нет ли где-нибудь тут человека?

Когда наступила ночь, Анду пошел вниз по долине реки—посмотреть, не попадет ли ему кто-нибудь из обитателей выступа. Выступ был пуст, не было и следа той странной красной вещи. Анду был очень голоден и потому в эту ночь—он уж не стал так долго ротозейничать, но прямо отправился на охоту за ланью. Он забыл о скверных зверьках. Скоро Анду нашел молодую лань, но тут же, рядом, была мать и пыталась защитить своего детеныша. Анду оставил его в покое, но разгорячившаяся самка продолжала нападать. В конце-концов Анду нанес ей удар по морде и таким образом овладел ею. Мясо было не очень-то нежное, но его было много, и медведица тоже получила кой-что на свою долю. Очень это странно, но на следующий вечер упал совершенно такой же, как и вчера, кусок белой скалы и разбился точно так же, как это было и в первый раз.

В третий раз—это было еще день спустя—прицел был, во всяком случае, лучше: глыба ударила прямо в неразум-

ную голову Анду с таким треском, что загудело между скал, и белые осколки разлетелись во все стороны. Из пещеры вышла медведица и с любопытством стала обнюхивать Анду: Анду лежал перед пещерой в странном положении с влажной и бесформенной головой. Медведица была еще молода и неопытна, и потому, обнюхав Анду илизав его немного, она решила оставить его в покое, пока у него не пройдет это странное настроение, а тем временем отправилась одна на охоту.

Она пошла на поиски молодой лани, мать которой они убили два дня тому назад, и скоро нашла то, что искала. Но было скучно охотиться без Анду, и она вернулась в пещеру очень рано — еще до рассвета. Небо было серо и мрачно, деревья вверх по речной долине черны и неприветливы, и в ее медвежьей душе зашевелилось смутное предчувствие необычайных и страшных событий. Она стала громко звать Анду. Берега реки ответили ей эхом.

Подойдя к пещерам, она увидела в полутьме пару, быстро убежавших при ее приближении, шакалов; потом завывала гиена, с дюжину неуклюжих фигур пробежали вверх и, остановившись там, насмешливо завизжали. „Владыка скал и пещер — уа-ха!“ — разносилось по ветру. Смутное предчувствие медведицы приняло вдруг более определенные формы. Она быстро подбежала к пещере.

— „Уа-ха!“, — кричали отступая гиены. — „Уа-ха!“

Пещерный медведь лежал уже несколько в ином положении; гиены уже порядком поработали над ним; в одном месте даже белели его ребра. Кругом на траве валялись разлетевшиеся осколки трех больших меловых глыб. Воздух был пропитан запахом смерти.

Медведица изумленно остановилась. Даже и теперь она не могла поверить, что ее большой, чудесный Анду убит. Тут она услышала сверху какой-то звук, — странный звук, немного похожий на крик гиены, но более полного и низкого тембра. Медведица посмотрела вверх; ее маленькие, ослепленные рассветом, глаза плохо видели, ее ноздри дрожали. Там, на краю обрыва, высоко над нею, на фоне ярко-розового рассвета, виднелись два маленьких косматых, круглых, темных предмета: это были головы Юдены и Уф-Ломи, насмехавшихся над нею. И хотя она и не могла их отчетливо рассмотреть, она слышала их голоса, и какой-то смутный страх охватил ее. Новое чувство неизбежных неведомых бедствий закралось в ее душу.

Она стала рассматривать разбросанные меловые глыбы, лежавшие вокруг Анду. Некоторое время она стояла непод-

вижно, осматриваясь вокруг и испуская низкий протяжный рев — почти стон. Затем, все еще не веря случившемуся, вернулась к Анду и сделала еще одну последнюю попытку разбудить его.

III

ПЕРВЫЙ НАЕЗДНИК

До Уф-Ломи между людьми и лошадьми не было никаких столкновений. Они жили отдельно: люди в речных толях и зарослях, лошади на обширных травянистых равнинах, среди каштанов и сосен. Случалось, что лошадь, заблудившись, попадала в перегораживавшие ей дорогу болота; случалось, люди порой находили убитую львом лошадь и, отогнав шакалов, пировали, пока солнце стояло высоко на небе. Лошади в ту эпоху были темной масти, с неуклюжими ногами, с всклокоченным хвостом и большой головой. Каждую весну, как только вырастала трава на обширных низменностях, лошади приходили сюда, на северо-запад, приходили вскоре после прилета ласточек и незадолго до появления гиппопотамов. Они приходили небольшими табунами, состоявшими из самца и двух-трех кобыл с жеребятами, державшимися на отдельном участке. Как только начинали желтеть каштаны, и волки спускались с Уэлденских гор, табуны лошадей уходили обратно. Лошади обычно паслись на открытых местах, уходя в тень лишь во время сильной дневной жары. Они избегали больших буковых лесов и пустых зарослей терна, и больше держались таких мест, где были только отдельные группы деревьев, тут лошади чувствовали себя в безопасности от неожиданного нападения; подойти к ним незамеченным — было трудно. На других животных — лошади не нападали: свои копыта и зубы они пускали в ход лишь при столкновениях друг с другом. В открытой местности — ни одно живое существо не могло догнать испуганную лошадь, — разве только слон. В те дни человек казался достаточно безобидным существом. У лошадей не было еще ни малейшего предчувствия всего того ужасного рабства, которое их ждало в грядущем; они и не думали о плетях, шпорах и поводах, о тяжелых кладях и грязных улицах, о жизни впроголодь и бойнях — обо всем том, что должно было заменить обширные травянистые луга и свободу.

На болотистых берегах реки Уэй Уф-Ломи и Юдены никогда не случалось видеть лошадей вблизи. Но теперь, —

после того, как они покинули свое убежище на выступе и блуждали в поисках пищи, — теперь лошади попадались им каждый день. Убив Анду, Уф-Ломи и Юдена вернулись на выступ, — они уже не боялись медведицы. Напротив, медведица стала бояться их и, почуяв присутствие людей — уходила в сторону. Уф-Ломи и Юдена повсюду ходили вместе; с тех пор, как они покинули свое племя, Юдена была не столько женою, сколько подругой Уф-Ломи. Она даже научилась охотиться, насколько это возможно для женщины. Она вообще была удивительная женщина. Уф-Ломи в продолжение целых часов лежал, подстерегая зверей или изобретая своей косматой головой новые способы охоты, а Юдена стояла рядом с ним, не сводя с него блестящих глаз; но при этом она не раздражала попусту разными бабьими советами, — она вела себя совершенно как мужчина. Удивительная женщина!

На верху утеса был обширный луг, затем шли буковые леса, а пройдя эти буковые леса, можно было выбраться в луга. Трава на лугах колыбалась от ветра — и тут-то можно было увидеть лошадей. Здесь, на поросшей папоротником опушке леса, было много кроличьих нор, и здесь лежали среди листьев Юдена и Уф-Ломи, держа свои метательные кремни наготове: Уф-Ломи и Юдена ждали, когда маленький кроличий народец выйдет из нор шипать траву и играть при заходе солнца. И вот Юдена сидела, как молчаливое олицетворение ожидания, не сводя глаз с кроличьих нор, а Уф-Ломи все время глядел сквозь зеленую листву на удивительных незнакомых животных, бродивших по лугу.

Смутно он оценил их грацию, ловкость и быстроту. По вечерам, когда солнце начинало садиться, и дневной жар спадал, лошади оживлялись, гонялись друг за другом, испуская ржание, увертываясь и потрясая гривами; они описывали широкие круги и иногда пробегали так близко от Уф-Ломи, что топот их звучал, как раскаты грома. Это было так красиво, что Уф-Ломи самому хотелось скакать вместе с ними. Иногда какая-нибудь лошадь начинала кататься по дерну, задрав вверх все четыре копыта; это уж было страшно и куда меньше соблазняло Уф-Ломи.

Смутные мечты роились в голове Уф-Ломи во время его наблюдений за лошадьми, и благодаря этим мечтам, двум кролика удалось прожить несколько дольше. Во сне мечты Уф-Ломи становились определенной и смелее: так бывало обыкновенно в те дни. Ему снилось, что он близко подходит к лошадям, своим метательным камнем сражается против их копыт, но затем лошади превращались в людей или, по край-

ней мере, в людей с лошадиными головами, и Уф-Ломи просыпался весь в холодном поту от страха.

На утро, когда лошади паслись, одна из кобыл заржала, и весь табун заметил Уф-Ломи, подходившего с подветренной стороны. Все лошади перестали есть, все смотрели на Уф-Ломи. Уф-Ломи подошел к ним не сразу, а стал наискосок переходить через луг, и глядел при этом на все, что угодно, но только не на лошадей. В свои заплетенные волосы он воткнул три папоротниковых листа, что придавало ему очень странный вид; шел он очень медленно.

— „Что это еще такое?“ — спросил Глава табуна; это было очень разумное, но еще неопытное животное. — „Это больше всего похоже на половину животного, чем на что-нибудь другое, — продолжал Глава табуна. — „Передние лапы есть, а задних — нет“. — „Это одна из пород обезьян“ — сказала Старшая Кобыла. — „Это особый вид речной обезьяны; такие очень часто встречаются в долинах“.

Уф-Ломи продолжал подходить попрежнему боком. Старшая кобыла была просто поражена явным отсутствием цели во всех действиях человека. — „Вот дурак!“ — сказала Старшая Кобыла; она всегда все решала очень быстро. Старшая Кобыла вернулась к своей еде. Глава табуна и Вторая Кобыла последовали ее примеру.

— „Смотрите, он подходит ближе“ — сказал Полосатый Жеребец.

Один из молодых жеребцов сделал беспокойное движение. Уф-Ломи опустился на корточки и сидел, пристально глядя на лошадей. Скоро он убедился, что лошади не помышляют ни о бегстве, ни о враждебных действиях против него. Он стал думать: что ж ему делать дальше? В руках Уф-Ломи держал свой топор, его смелый охотничий дух был все тот же — и все-таки не хотелось убивать лошадей. Разве поднялась бы рука на эти грациозные создания, на этих больших красивых животных?

Юдена с боязливым восхищением наблюдала за Уф-Ломи сквозь папоротники. Она увидела, что Уф-Ломи вдруг пополз на четвереньках. Но лошади ясно предпочитали видеть его двуногим, а не четвероногим: Глава табуна вскинул голову и дал сигнал к походу. Уф-Ломи подумал, что лошади убежали совсем. Но, оказалось, после скачки, продолжавшейся с минуту, лошади, описав широкую кривую, вернулись обратно и остановились, зачуяв Уф-Ломи. Так как он был скрыт небольшим пригорком, лошади выстроились гуськом и под предводительством Главы табуны зигзагами стали осторожно подходить к пригорку.

Уф-Ломи не знал, чего можно ждать от лошадей, и лошади тоже не знали чего ждать от человека. Поэтому-то маневр лошадей смутил Уф-Ломи. Он знал, что если бы он держался такой тактики при встрече со стадом оленей или буйволов, то эти животные уже напали бы на него. Вдруг Юдена увидела: Уф-Ломи вскочил и подбежал к ней, держа папоротниковые листья в руках.

Она тоже вскочила, но Уф-Ломи, оскалив зубы, засмеялся, чтоб показать, что все это было только шуткой и что все произошло так, как он заранее предполагал. На этом происшествие окончилось, но Уф-Ломи был задумчив весь день.

На следующий день это глупое бродячее создание с львиной гривой, вместо того, чтоб идти за пищей или охотиться, как это полагается—снова стало бродить вокруг лошадей. Старшая Кобыла преисполнилась к нему молчаливым презрением.

— „Я думаю, он хочет чему-нибудь поучиться от нас“. — сказала она. — „Пусть поучится“.

На следующий день повторилось то же самое. Глава табуна решил, что человек ничего дурного не замышляет. Но на самом деле Уф-Ломи, — первый из людей, испытавший странное пристрастие к лошади, — пристрастие, которое не прошло у человека и по сей день, — Уф-Ломи, задумывал великое дело. Он неустанно любовался лошадьми. Я боюсь, что в нем были зачатки сноба и он жаждал быть ближе к этим прекрасным грациозным животным. Затем у него явилось смутное представление убить одну из лошадей. Только бы они подпустили к себе поближе. Но лошади все время держались на расстоянии, по крайней мере, пятидесяти ярдов. Если Уф-Ломи подходил ближе, они удалялись с достоинством. Мне кажется, что тот способ, которым Уф-Ломи удалось ослепить Анду, заставил его подумать о том, чтобы вскочить на спину одной из лошадей. Спустя некоторое время, Юдена присоединилась к Уф-Ломи и они вместе продолжали облаву, но дело вперед все же не двигалось.

В один достопамятный день новая мысль пришла в голову Уф-Ломи. Ведь лошадь смотрит только вниз и в бок, но никогда не смотрит вверх. Ни одно животное не глядит вверх—для этого у них слишком много здравого смысла. Только такое фантазирующее существо, как человек, тратит свои силы на то, чтобы смотреть в небо. Уф-Ломи не занимался философскими умозаключениями, а просто заметил, что дело обстоит именно таким образом. Он проскучал целый день, сидя на буковом дереве, которое росло посреди луга, а Юдена в это время ловила сеткою птиц. Обычно-

венно во время полуденной жары лошади прятались под тенью букового дерева, но в этот день, как нарочно, небо было облачное, и лошади не пришли, несмотря на все старания Юдены пригнать их к этому месту.

Два дня спустя, желание Уф-Ломи наконец исполнилось. День был очень жаркий, и мухи страшно надоедали. Лошади щипали траву до полудня, а затем собрались в тени букового дерева, — прямо под Уф-Ломи. Тут они расположились парами, обернувшись мордами к стволу и спокойно стояли, помахивая хвостами.

Глава табуна, благодаря силе своих копыт, стоял к дереву ближе всех. Вдруг сверху, на дереве, послышался шум, скрип и затем—удар. Остро отточенный кремь царапнул Главу табуна по скуле. Глава табуна споткнулся, упал на одно колено, вскочил на ноги и помчался как ветер. В воздухе просвистело, как вихрь, застучали копыта, послышалось тревожное фырканье. Уф-Ломи на фут подбросило в воздух, потом вниз, потом опять вверх, его ужасно било по животу, и наконец ему удалось зажать что-то между колен. Так, вцепившись коленями, руками и ногами, Уф-Ломи несся в жесточайшей скачке—только воздух свистел в ушах; во время скачки—топор Уф-Ломи девался неизвестно куда. „Держись крепко“, — подсказал инстинкт—и Уф-Ломи держался.

Он чувствовал, что густые, жесткие волосы хлестали его по лицу, попадали между зубов; зеленый луг быстро убежал из-под ног. Уф-Ломи видел большое, лоснящееся плечо Главы табуна, видел, как плавно двигались мышцы под кожей. Он заметил, что его рука охватывает шею лошади и что в ужасных толчках этой бешеной скачки есть какой-то свой ритм.

В самый разгар этого дикого галопа Уф-Ломи очутился среди древесных стволов, потом снова пошли папоротники и опять—открытое, заросшее травой пространство. Затем целый дождь щепы брызнул в разные стороны из-под быстрых лошадиных копыт. Уф-Ломи почувствовал, что устал страшно и что у него кружится голова, но он был не из тех, которые бросают начатое из-за мелких неудобств.

Уф-Ломи еще не решался разжать руки, но все же попытался устроиться поудобнее. Он перестал держаться за шею, и скакал дальше, ухватившись за гриву. Продвинув колени вперед и подавшись назад, он уселся удобней: место для сиденья было шире. Это была рискованная задача, но Уф-Ломи справился с ней, и, в конце концов, прекрасно сидел верхом, правда, запыхавшись и еще не совсем уверенно, но зато уже не было этих ужасных толчков по животу.

Медленно стали приходить в порядок мысли Уф-Ломи. Скачка показалась ему ужасной, но постепенно этот безумный страх сменился каким-то восторженным чувством.

В лицо Уф-Ломи веял чудесный, нежный весенний воздух; ритм скачки менялся — переходил в иноходь, и опять в галоп. Они мчались теперь по зеленой мураве, по обширной равнине с буковыми деревьями; между деревьями змеилась сочная полоса зелени, усеянная розовыми цветами; там и сям серебрилась и блестела вода. Далеко, далеко синела долина. Восторженное чувство все росло. Человек в первый раз испытал всю прелесть верховой езды.

Скакали по обширной равнине; пятнами промелькнули бегущие олени; пара шакалов, ошибочно принявших Уф-Ломи за льва, поспешно кинулись за ним следом. Потом шакалы увидели, что это не лев, но все еще продолжали бегать — теперь уж просто из любопытства. Лошадь мчалась все быстрее — она все еще думала убежать, а следом неслись, наострив уши, шакалы, обмениваясь на бегу быстрыми замечаниями. „Кто кого убивает?“ — сказал первый шакал. „Он убивает лошадь“, — ответил второй. Они завывали так, как воют шакалы, преследуя добычу, а лошадь ответила тем ржанием, каким отвечает теперь на шпоры.

Как странный маленький ураган, неслись они среди тихого дня, вспугивая птиц, поднимая негодующие мириады навозных мух, загоняя в норы испуганных зверьков, втоптывая мирно цветущие растения в ту самую землю, из которой эти растения вышли. Снова деревья, затем всплеск воды; вдруг из травы у самых копыт Главы табуна выскочил заяц — и шакалы тотчас же отстали.

Потом Уф-Ломи снова очутился в открытой холмистой местности, — на тех самых зеленых равнинах, которые тянутся в настоящее время к северу от Ипсом-Стэнда.

Глава Табуна уже давно бросил свою бешеную скачку: он перешел теперь на умеренную рысь. Уф-Ломи был совершенно разбит и не знал, чем все это кончится, но все же испытывал удивительное удовольствие. А затем дело приняло новый оборот: рысь прекратилась, Глава табуна, описав короткий круг, остановился, как вкопанный...

Уф-Ломи насторожился. Он пожалел, что у него нет с собою кремня, потому что его метательный камень, который был у него за поясом — во время скачки, вместе с топором исчез неизвестно куда. Глава табуна повернул свою голову — и Уф-Ломи увидел один глаз и зубы лошади. Он поджал ногу так, чтобы лошадь не могла ее укусить, и ударил Главу табуна кулаком по скуле. Голова лошади снова скры-

лась куда-то, перестала существовать, но зато спина, на которой Уф-Ломи сидел — высоко подскочила в воздухе. Вновь инстинкт подсказал Уф-Ломи крепче держаться: он и держался — коленями и ногами, и ему уже казалось, что он падает на землю вниз головой. Но его пальцы запутались в лошадиной всклокоченной гриве — и эта крепкая, жесткая грива спасла его. Высоко поднятый круп лошади снова опустился — и едва успел удивленный Уф-Ломи произнести „Хоп!“ — как очутился на другом склоне холма. Но Уф-Ломи был на тысячу поколений ближе к первобытному животному, чем современный человек: никакая обезьяна не могла бы лучше держаться. И в течение такого же бесчисленного ряда поколений лев отучил лошадь от этой привычки — кататься по земле. Но она мастерски лягалась и прекрасно скакала. В пять минут Уф-Ломи пережил целую жизнь. Он был уверен, что стоит ему только упасть — и лошадь сейчас же убьет его. Но тут Глава табуна решил вернуться к своей старой тактике и неожиданно перешел в галоп. Он понесся вскачь по склону, одним прыжком перескакивая рытвины все прямо и прямо вперед; вот уже спустились вниз, и широкий простор долины скрылся из виду: долину мешал видеть дубовый лес и заросли боярышника. Пронеслись по берегу неожиданно открывшейся балки, — балка была залита весенней водой и пышно заросла какими-то серебристыми кустами. Почва стала мягче, а трава выше, направо и налево были рассеяны кусты боярышника, усыпанные запоздавшими цветами. Кустарник стал до того густым, что ветки хлестали и коня, и всадника; скоро мелкие капли крови покрыли и лошадь, и человека. Затем снова открылась широкая дорога.

И вот тут произошло удивительное приключение. Среди кустов раздался внезапный крик беспричинного гнева, крик чем-то горько оскорбленного существа. И сзади — с треском ломая сучья — появилась серо-синяя масса. Это был Яааа — большерогий носорог, по своей привычке напавший на них в одном из припадков своего беспричинного гнева. Его потревожили во время еды, и за это кто-нибудь, все равно кто, должен быть растерзан и затоптан. Он напал слева; его маленькие злые глаза налились кровью, рог был опущен вниз, а хвост он держал высоко, как флаг. Одну минуту Уф-Ломи думал соскользнуть с лошади и спрятаться, но вот отрывистый стук лошадиных копыт стал быстрее, и носорог, семенивший своими коротышками-ногами, стал ускользать из поля зрения Уф-Ломи. Через две минуты они уже очутились за кустами боярышника и быстро мчались по открытому месту. Еще некоторое время Уф-Ломи слышал позади

себя тяжкий топот носорога, а затем все кончилось как будто у носорога и не было этого припадка ярости, как будто Яааа и не существовал никогда.

Не сбиваясь с шага, они продолжали мчаться все дальше.

Уф-Ломи был преисполнен восторга победы, а восторг победы в те времена выражался бранью. „Ага, толстый нос!“—кричал он, стараясь оглянуться и увидеть носорога, который теперь казался уже маленьким пятном. „Почему не носишь ты свой метательный камень в кулаке?“—закончил он с бешеным гиканьем.

Но это гиканье было некстати, раздавшись совершенно неожиданно у самого уха лошади, страшно дикий крик Уф-Ломи испугал ее. Лошадь резко метнулась в сторону. Уф-Ломи неожиданно почувствовал, что ему очень неудобно. Он чувствовал, что висит, вцепившись в лошадь одной рукой и коленом.

Скачка окончилась с честью, но все же не очень приятно. Перед глазами Уф-Ломи расстилалось теперь почти только одно голубое небо, но это созерцание неба было сопряжено с весьма неприятными физическими ощущениями. В конце концов терновый куст так крепко схватил Уф-Ломи, что Уф-Ломи свалился с лошади.

Он ударился о землю щекой и плечом, а затем, после целого ряда сложных и необыкновенно быстрых движений, еще раз ударился нижней частью спины. Разноцветные искры посыпались у него из глаз. Казалось, земля прыгает под ним совершенно так, как прыгала лошадь. Он увидел, что сидит на земле, ярдах в шести от куста. Прямо перед ним расстился луг, и чем дальше—тем этот луг становился все зеленее. На лугу виднелось несколько человеческих фигур, а лошадь быстрым галопом скакала уже далеко по дороге направо.

Люди, которых увидел Уф-Ломи, стояли на другом берегу реки, несколько человек были еще в воде, но теперь все бросились бежать во всю мочь. Появление чудовища, распавшегося на две части—это было новинкой, над которой стоило задуматься. С минуту Уф-Ломи сидел, поглядывая кругом с равнодушным постороннего зрителя. Изгиб реки, холм среди тростников и папоротников, тонкая струйка дыма, поднимающаяся к небесам,—все это было очень знакомо ему. Это было становище сынов Уйи, Уйи, от которого он бежал вместе с Юденей, которого он подстерег в каштановом лесу и убил первым человеческим топором.

Уф-Ломи встал; в голове у него все еще шумело после падения; а разбежавшиеся во все стороны люди обернулись

и посмотрели на него. Некоторые указывали на скачущую вдаль лошадь и тараторили что-то. Уф-Ломи медленно пошел по направлению к людям, не спуская с них глаз. Он забыл про лошадь, забыл про свои ушибы, так заинтересовала его эта встреча. Людей было меньше, чем раньше (Уф-Ломи подумал, что остальные спрятались), куча листьев для ночного костра тоже была не так высока, как бывало. Возле груды кремней должен был бы сидеть Уау, но Уф-Ломи вспомнил, что ведь он убил Уау. Когда Уф-Ломи внезапно очутился в этой знакомой обстановке,—долина, медведи и Юдена показались ему такими далекими, как будто он их видел когда-то во сне.

Он остановился на берегу и смотрел на людей своего племени. Его математические способности были весьма слабы, но было ясно, что племя стало малочисленнее. Мужчины могли уйти куда-нибудь, но женщин и детей тоже было меньше. Уф-Ломи издал приветственный крик; ведь он ссорился только с Уйей и Уау, а не с остальными. „Дети Уйи!“—крикнул он. Они ответили, называя Уф-Ломи по имени, но по правде—немного робели, напуганные странным появлением Уф-Ломи.

Некоторое время они разговаривали друг с другом. Потом старуха крикнула пронзительным голосом: „Наш повелитель Лев!“

Уф-Ломи не понял того, что она сказала. Тогда несколько человек вместе стали кричать ему: „Уйя возвращается к нам. Он приходит в виде Льва. Наш повелитель—Лев. Он приходит ночью. Он убивает, кого хочет. Но никто другой, Уф-Ломи, не смеет убивать нас,—никто другой не смеет убивать нас“.

Уф-Ломи все еще не понимал. „Наш повелитель Лев. Он больше не говорит с нами“.

Уф-Ломи стоял, глядя на них. Он видел во сне и знал, что хотя он убил Уйю, но Уйя все-таки существует. А теперь они говорили ему, что Уйя стал Львом.

Сморщенная старуха, хранительница огня, вдруг обернулась и стала тихо говорить что-то тем, кто стоял ближе к ней. Она была, действительно, очень стара; это была первая из жен Уйи, и он оставил ее жить дольше, чем полагалось жить женщине. Старуха была хитра, умела угождать Уйе и добывать пищу. Теперь она пользовалась большим влиянием. Она тихо говорила, и Уф-Ломи через реку с любопытством и отвращением смотрел на ее сморщенное лицо. Потом она громко крикнула: „Иди к нам, Уф-Ломи!“

Вдруг одна девушка тоже закричала:— „Переходи к нам, Уф-Ломи!“ — И они все стали кричать:— „Переходи к нам, Уф-Ломи!“

Отношение всех их к Уф-Ломи до странности изменилось после того, как старуха позвала его.

Он стоял неподвижно, наблюдая за ними. Было приятно, что они его звали, и вдобавок—девушка, которая первая позвала его, была красива. Но она ему напомнила о Юдене.

„Переходи к нам, Уф-Ломи!“—кричали они и голос морщинистой старухи был слышнее всех. В звуке ее голоса было что-то такое, что Уф-Ломи колебался итти на зов.

Он стоял на берегу реки, он, Уф-Ломи, Уф-Мыслитель, и мысли его медленно начали проясняться. На том берегу то один, то другой переставал кричать: ждали—что же будет делать Уф-Ломи. А он все еще не решался: не то итти обратно, не то переходить к ним. Наконец страх или осторожность—взяли верх. Не отвечая им, Уф-Ломи повернулся и пошел обратно по направлению к терновым кустам, по той же дороге, по которой его принесла сюда лошадь. Тотчас же все племя стало снова громко звать его. Уф-Ломи остановился в нерешительности, повернулся, затем снова пошел, но вот опять обернулся, грустными глазами глядя на тех, которые его звали. Уже сделал было два шага назад, но страх остановил его. С того берега видели, как Уф-Ломи еще раз остановился и вдруг, тряхнув головой, исчез в терновнике.

Тогда женщины и дети стали все вместе кричать и звать его, но все было напрасно.

А вдали, вниз по реке, где ветерок колыбал тростники, старый лев лежал в берлоге. Он пристрастился к человеческому мясу и потому устроил себе берлогу поближе к источнику этой новой пищи.

Старуха повернулась лицом по направлению к берлоге и, указывая рукой на заросли терновника, закричала:— „Уйя, вот идет твой враг. Вот идет твой враг, Уйя! Почему ты пожираешь нас ночью? Мы хотели схватить его. Вот идет твой враг, Уйя!“

Но лев, пожиравший людей, отдыхал после обеда: он не услышал криков старухи. В этот день лев пообедал одной из самых жирных девочек и находился в самом миролюбивом настроении. Право же, он не понимал, что он Уйя и что Уф-Ломи его враг.

Так Уф-Ломи ездил верхом и так он узнал впервые, что Уйя-лев занял место Уйи-вождя и пожирает свое племя. На обратном пути в долину реки—Уф-Ломи уже не думал

больше о лошади: он думал только о том, что Уйя все еще жив, что его надо убить или самому быть убитым. Снова и снова он видел бегущую толпу женщин и детей, кричащих: „Уйя-лев, Уйя-лев!“

И вдруг, испугавшись наступающих сумерек, Уф-Ломи пустился бежать.

IV

УЙЯ—ЛЕВ

Старому льву повезло. Племя могло гордиться таким покровителем, но это было единственным утешением. Лев появился в ту самую ночь, когда Уф-Ломи убил Уйю-Лукавого, а потому льва и называли Уйей. В ту ночь ливень не давал разгореться костру, и это делало ночь еще темнее. Люди разговаривали, вглядывались друг в друга сквозь густую тьму и размышляли: что же теперь сделает с ними во сне убитый Уйя? И вдруг услышали львиное рычание где-то совсем недалеко. Затем все смолкло. Они затаили дыхание; только и было слышно: капли дождя шуршат в листве и шипят, попадая в костер. Через несколько минут, показавшихся им вечностью, послышался треск, крики ужаса и рычание. С криком и визгом все вскочили на ноги, бросились врассыпную, но мокрые головы не разгорались, один миг—и жертва была уже утащена в папоротники. То был Эрк—брат Уау.

Так появился лев.

На следующую ночь опять был дождь, опять папоротники были мокрые; лев пришел и утащил рыжеволосую Клик. Льву ее хватило на две ночи. И затем он приходил во время новолуния три ночи подряд, хотя теперь костры горели очень ярко. Это был старый лев с крепкими зубами, молчаливый и хладнокровный. Он уже был знаком с кострами; и это были не первые люди, которых он ел,—именно эта пища и помогла ему дожить до преклонного возраста. На третью ночь лев пробрался в пространство между внутренним и внешним костром, вскочил на кучу кремней и схватил Ирму, сына Эрка, который, казалось, мог стать главой племени. Это была ужасная ночь; разложили огромные костры из папоротниковых листьев и бегали вокруг них с отчаянными криками, так что лев даже выпустил было Ирму. При свете костра видели, как Ирма отбивался, вырвался и пробежал даже несколько шагов по направлению к костру, но

лев в два прыжка опять настиг свою жертву. Тут и пришел конец Ирму.

Так среди них поселился ужас, и вся прелесть весны ушла из их жизни. Племя уже не досчитывалось пятерых, а четыре следующих ночи прибавили к этому числу еще трех. Теперь уже не имело смысла ходить и разыскивать себе пищу: никто не знал, чья теперь очередь. Женщины, даже те, которые пользовались большим успехом у мужчин, — работали теперь целые дни: они собирали хворост и сучья для ночных костров. А охотники охотились нехотя — и в теплое весеннее время снова наступил голод, как это бывало только зимой. Племя могло бы перекочевать, но у них не было предводителя и никто не знал, где найти такое место, чтобы лев не нашел их. Таким образом, старый лев жирел и благодарил небеса, создавшие эту добрую породу людей. Двое детей и один мальчик постарше погибли во время новолуния, и тут-то, наконец, сморщенная старая хранительница огня впервые вспомнила во сне об Юдене и Уф-Ломи и о том, каким образом был убит Уйя. Всю свою жизнь она прожила в страхе перед Уйей, а теперь она жила в страхе перед львом. Чтоб Уф-Ломи, — тот самый Уф-Ломи, который родился на ее глазах, — мог вправду убить Уйю, это было невероятно. Ясно: лев был Уйя, все еще искавший своего врага.

И вдруг так неожиданно, таким странным путем — вернулся Уф-Ломи. Вдали за рекой увидели странное скачущее животное, потом животное — превратилось в два живых существа — человека и лошадь. Вслед за этим предзнаменованием на том берегу реки появился призрак Уф-Ломи. Да, для нее все было ясно: Уйя наказывал их за то, что они не поймали Уф-Ломи и Юдену.

Мужчины по одиночке вернулись обратно в становище когда солнце еще сияло на небе, — вернулись, чтоб вновь подвергнуться случайностям ночи. Они были встречены рассказами об Уф-Ломи. Старуха переправилась с ними на ту сторону реки и показала неясные следы на берегу. Сисс-Следопыт узнал ногу Уф-Ломи. „Уйя требует Уф-Ломи!“ — кричала старуха, — она стояла налево от того места, где река поворачивает, — стояла, точно бронзовая жестикулирующая статуя, вся освещенная заходящим солнцем. Крики ее — это было что-то странное, среднее между словами и нечленораздельными звуками, но смысл их был таков: „Лев требует Юдену. Он приходит каждую ночь, ища Юдену и Уф-Ломи. Так как он не может найти Юдену и Уф-Ломи, он сердится и убивает. Найдете Юдену и Уф-Ломи, Юдену, которую он

ищет, и Уф-Ломи, которому он произнес слово смерти. Найдите Юдену и Уф-Ломи“.

Она повернулась к видневшимся вдали тростникам, как когда-то при жизни поворачивалась к Уйе. „Не так ли, мой повелитель?“ — кричала она. И как бы в ответ высокие тростники склонились от дуновения ветра.

Уже были сумерки, а в становище все еще слышны были удары: то мужчины заостряли свои ясеневые копья для завтрашней охоты. А ночью, до восхода луны, опять пришел лев и утащил дочь Сисса-Следопыта.

На утро еще и солнце не взошло, а Сисс-Следопыт и молодой Уау-Хау, который теперь обтачивал кремни, и Одноглаз, и Бо, и Улиткоед, оба Рыжеволосых, Кошачья Шкура и Змея, словом — все оставшиеся в живых сыны Уйи, захватив свои кремни и ясеневые копья — отправились по следам Уф-Ломи. Они захватили с собой также и метательные камни в мешочках из звериных шкур и двинулись через заросли терновника, где Яааа — носорог и его братья искали пищу, а затем выше, по открытому полю, к буковым лесам.

Ночью, как только зашел месяц, в становище загорелись костры; пламя было высокое, яркое и лев оставил в покое притаившихся женщин и детей.

На следующий день, солнце еще было высоко, а охотники уже вернулись, — вернулись все, кроме Одноглаза: Одноглаз с раскроенным черепом, мертвый, лежал у подножья скалы. (Когда Уф-Ломи после погони за лошадьми вернулся в этот вечер домой, он увидел, что коршуны уже работают над трупом Одноглаза). Охотники привели с собой измученную и раненую, но еще живую Юдену. Таков был страшный приказ сморщенной старухи; привести Юдену живой. „Она должна быть убита не нами, а Уйей-Львом“. Руки у Юдену были стянуты ремнями, как будто она была мужчиной; она пришла измученная и утомленная — волосы падали ей на глаза и были смочены кровью. Мужчины окружали ее кольцом, а Улиткоед, которому она дала его прозвище, насмеялся над нею и время от времени наносил ей удары своим ясеневым копьём. Ударив ее копьём, он всякий раз оглядывался, как человек, совершивший необычайно смелый поступок. Остальные тоже все время оглядывались и все чего-то торопились, все, кроме Юдену. Завидев их, старуха завизжала от радости.

Они заставили Юдену перейти через реку со связанными руками, хотя течение тут было очень сильно; когда Юдену поскользнулась, старуха закричала сперва от радости, а затем от страха, чтоб она не утонула. Когда вытащили Юдену на

берег, она никак не могла встать на ноги, как ни били ее. Так и оставили ее сидеть; сидела она, опустив ноги к самой воде, устремив глаза куда-то вдаль; и что с ней ни делали, что ей ни говорили—лицо у нее оставалось все таким же неподвижным. Все племя спустилось с холма, даже кудрявая маленькая Хаха, едва начавшая лепетать; все стояли и смотрели на Юдену и на старуху, как мы бы смотрели на какое-нибудь необыкновенное раненое животное и на человека, поймавшего это животное.

Старуха сорвала с шеи Юдену ожерелье Уйи и надела на себя: она была теперь старшей в племени и ей подобало носить ожерелье. Затем она стала дергать Юдену за волосы, взяла копье у Сисса и била Юдену копьем изо всех сил. Вдоволь натешившись, старуха пристально посмотрела Юдене в лицо. Глаза у Юдены были закрыты, лицо неподвижно, и она лежала так тихо, что старуха одну минуту боялась: уж не умерла ли она? Но вот ноздри Юдены затрепетали. Тогда старуха ударила ее по лицу, засмеялась, отдала Сиссу копье и, отойдя в сторону, начала кричать и насмехаться над Юденной.

Запас слов у старухи был куда больше, чем у других людей из того же племени. Слушать ее было прямо страшно. То она бессвязно вскрикивала и стонала, то в ее гортанных криках мелькали какие-то призраки мыслей. Юдена поняла большую часть того, что говорила старуха: старуха говорила о льве и о мучениях, которым лев подвергнет Юдену. „А Уф-Ломи! Ха-ха! Уф-Ломи убит!“

И вдруг глаза Юдены открылись, она села, ее взгляд прямо и открыто встретился со взглядом старухи „Нет“,—медленно сказала Юдена,—сказала, как человек, пытающийся что-то вспомнить.—„Нет, я не видела моего Уф-Ломи убитым. Я не видела моего Уф-Ломи убитым“.

— „Скажите ей“,—закричала старуха,—„скажите ей, кто его убил. Скажите ей, как был убит Уф-Ломи“!

Она смотрела по очереди на всех мужчин, а за нею смотрели на мужчин все женщины и дети.

Никто не отвечал ей: все стояли смущенные.

— „Скажите ей“,—говорила старуха.

Мужчины смотрели друг на друга.

Лицо у Юдены вдруг просветлело.

— „Скажите ей“,—проговорила Юдена.— „Скажите ей, сильные мужчины. Расскажите ей об убийстве Уф-Ломи“.

Старуха встала и грубо ударила ее по губам.

— „Мы не могли найти Уф-Ломи.“—медленно сказал Сисс-Следопыт.— „Охотиться за двумя—значит ни одного не поймать“.

Сердце у Юдены так и забило от радости, но лицо ее было все так же неподвижно. Это было хорошо, потому что старуха пристально на нее уставилась—и смерть глядела из ее глаз.

Весь гнев старухи обрушился теперь на мужчин: почему они боялись гнаться за Уф-Ломи? Теперь, когда Уйя был убит, она никого не боялась. Она бранила мужчин, как бранят детей. А они только хмурились и валили один на другого. Наконец Сисс-Следопыт возвысил голос и приказал старухе замолчать.

Когда солнце зашло, мужчины взяли Юдену и хотя у всех у них сердце так и ушло в пятки, но все же они собрались с духом и двинулись по тропинке, проложенной львом в тростниках. Все мужчины шли вместе. По пути к берлоге была группа ольховых деревьев; тут мужчины торопливо привязали Юдену, чтобы лев мог ее найти, когда в сумерки выйдет из своей берлоги. Покончив с этим, мужчины пустились бежать, и бежали до самого становища. Здесь они остановились. Сисс остановился первый и оглянулся на ольховые деревья. Даже отсюда, из становища, было видно голову Юдену—маленькую черную копну волос под ветвями большого дерева. Все было хорошо.

Все женщины и дети высыпали на вершину холма—поглядеть на Юдену. А старуха стояла и кричала льву, чтоб он скорее брал то, чего искал, и давала ему советы насчет разных пыток, каким он может подвергнуть Юдену.

Юдена была в конце измучена и почти теряла сознание от побоев, от усталости, от горя, и только страх перед тем, что ждало впереди—давал ей силу держаться на ногах. Вдали, между ветвями каштанов, виднелось огромное кроваво-красное солнце, весь запад был в огне; вечерний ветер замер; кругом была такая теплая тишина. В воздухе носились рои мошек; где-то недалеко в реке всплескивала рыба; майские жуки то и дело пролетали мимо. Уголком глаза Юдена могла видеть часть холма: на холме стояли маленькие фигурки и смотрели сюда, на Юдену. Слышно было, как там высекали огонь кремнем: звук доносился издали еле слышный, но все же очень отчетливый в тишине. А тут рядом, темная и тихая, окруженная зарослями папоротников—была берлога льва.

И вот уже ударов кремня больше не слышно. Юдена посмотрела на небо—и увидела, что солнце зашло, а над головой ярко сияет луна. Юдена посмотрела в ту сторону, где среди зарослей была берлога льва: не видно ли там чего-нибудь. И вдруг принялась рваться, рваться во все стороны, плача и призывая Уф-Ломи.

Но Уф-Ломи был далеко. Когда оттуда, с холма, увидели, как мечется голова Юдены, все торжествующе закричали; это заставило Юдену овладеть собой и сидеть спокойно. Появились летучие мыши; звезда, похожая на Уф-Ломи — выползла из своей голубой норы на западе. Юдена стала звать ее на помощь — чуть слышно, так как боялась льва. Но несмотря на наступление сумерек — в зарослях все было спокойно.

Мрак спустился над Юденкой; луна становилась ярче, тени, перед закатом, подымавшиеся все выше по склону холма и исчезнувшие вечером, — снова появились, но теперь они были короткие и черные. В зарослях папоротников и ольховых деревьев, где лежал лев, стали собираться какие-то темные фигуры, там слышался легкий шорох. Становилось все темнее, но никто не появлялся, оттуда, из берлоги.

Она посмотрела по направлению к становищу и увидела: костры пылают красным огнем и сильно дымят, мужчины и женщины ходят взад и вперед. Взглянула в другую сторону, на реку: там поднимался белый туман. Издали доносился писк лисенят и вой гиены.

В томительном ожидании время тянулось бесконечно. Вот какое-то животное шлепнулось в воду и, казалось, перешло реку в брод у самой берлоги, но что это было за животное, Юдене — не было видно. Далеко где-то слоны пришли на водопой, плескались и трубили; Юдене все было явственно слышно: так тиха была ночь.

Земля представляла из себя странное бесцветное сплетение белых отблесков и непроницаемых теней, а сверху — синее небо. Серебристый серп месяца был исчерчен филигранным узором черных каштановых веток; на западе, над покрытым тенью холмом, загорались все новые звезды. Костры на холме горели теперь ярко-красным пламенем; черные фигуры попрежнему все еще стояли и ждали. Они ждали услышать крики Юдены... Да, теперь им уж, наверное, не долго ждать.

Вдруг ночь как бы наполнилась движением. Юдена затаила дыхание. Что-то пробежало — одна, две, три осторожно крадущиеся тени... Шакалы. И снова бесконечное ожидание.

И вдруг сразу исчезли все воображаемые звуки, — пришло настоящее: в зарослях тростника — шорох, движение. Это был Лакомка-лев. Тростники сильно затрещали раз, другой, третий, затем все затихло, и только какой-то равномерный хруст. Юдена услышала тихое вибрирующее рычание, и снова все затихло. Кончится ли когда-нибудь эта ужасная тишина? Юдена удерживала дыхание и кусала себе губы, чтоб

подавить крик. Вот что-то быстро пробежало между кустарниками. Юдена невольно вскрикнула. Но радостного ответного воя с холма — не было слышно.

В кустах тростника поднялась какая-то сильная возня. Юдена видела: освещенные светом заходящей луны, колыхались стебли травы, качались ольховые деревья. Юдена отчаянно забилась — в последний раз. Но опять никто не тронул ее. С десятков чудовищ, казалось, целый десяток каких-то чудовищ в продолжение нескольких минут возился там, в этом маленьком уголке леса — и снова все затихло. Луна зашла за дальние каштаны, ночь стала темной.

И вот — какой-то странный звук, прерывистое рыдание, то усиливающееся, то ослабевающее. Снова — тишина, а затем какие-то неясные звуки, ворчание какого-то животного.

Затихло. Где-то далеко на востоке протрубил слон, из-за деревьев донеслись ворчание и визг. Снова все смолкло.

Время тянулось бесконечно. Уже месяц опять успел появиться между стволами деревьев — там на холме; через всю поросшую тростником равнину шли две яркие полосы лунного света, разделенные темным пространством. Опять — шорох в кустах, все настойчивей, все слышнее; всплеск воды — тростники закачались. Вот — раздвинулись широко сверху до низу... Это — конец...

Юдена старалась разглядеть вышедшее из тростников существо. С минуту ей казалось: конечно же — это та самая огромная голова и пасть, то, чего она ждала. Но вдруг это — стало уменьшаться, приняло какую-то другую форму. Это — было что-то темное, низкое, оно — молчало, и это — не был лев. Оно стояло неподвижно — и все было неподвижно. Юдена изумленно уставилась. Странное существо было похоже на гигантскую лягушку; две ноги и присевшее к земле тело. Голова двигалась туда, сюда: странное существо исследовало темные углы.

Раздался шорох, существо неуклюже задвигалось, как бы прихрамывая. Каждый его шаг сопровождался слабым стоном.

Вдруг кровь бросилась в лицо Юдене, сердце забилось от радости, „Уф-Ломи“, — прошептала она.

Существо остановилось. „Юдена“, — ответил он тихо, в голосе у него слышалось страдание, он пристально вглядывался в ольховые заросли.

Еще движение — и он вышел из тени тростников на лунный свет. Все тело у него было покрыто темными пятнами. Юдена увидела, что он еле волочит ноги, но в руке он крепко держал свой топор, — первый топор человека. Потом он встал на четвереньки и, шатаясь, подполз к Юдене. „Лев“, — сказал

он — и в голосе его странно смешивались восторг и страдание. „Уау! Я убил льва. Я — своими руками. Как убил большого медведя“... Уф-Ломи попытался, было, жестом придать большую выразительность своим словам, но тотчас же упал со слабым криком. Некоторое время он лежал без движения.

„Развяжи меня“, — прошептала Юдена...

Уф-Ломи ничего не ответил, но поднялся с земли, ухватился за ствол ольхи, и острым краем топора разрезал ремни. При каждом взмахе топора — Уф-Ломи глухо стонал. Он перерезал ремни, стягивавшие грудь и руки Юдену, а затем его рука упала. Грудь его ударилась о плечо Юдену, и, скользя, он упал рядом с ней на землю.

Но теперь уже ей и самой не трудно было высвободиться из ремней. Она проделала это очень быстро. Потом сделала, было, шаг вперед, но тотчас же в голове закружилось. Ее последним сознательным движением — был порыв к нему — к Уф-Ломи. Она пошатнулась и упала. Рука ее коснулась бедра Уф-Ломи: оно было мягко и мокро и поддавалось под ее рукой. Уф-Ломи закричал от этого прикосновения, забился и снова умолк.

Вдруг темная, похожая на собаку, фигура очень осторожно выползла из тростников. Фигура остановилась, нерешительно повела ноздрями, обнюхала воздух — и, в конце концов, повернулась и нырнула обратно в тень.

Долгое время Юдена и Уф-Ломи лежали без движения, освещенные светом заходящего месяца. Медленно, так же медленно, как заходил месяц, надвигались на них тени тростников. Вот уже окутали их ноги, и Уф-Ломи лежал как серебряное изваяние — как вылитый из серебра бюст. Тень залила его шею, покрыла его лицо и наконец ночная тьма поглотила их обоих.

Тени инстинктивно задвигались. Послышались шаги, тихое ворчание, какие-то удары...

Этой ночью в становище женщины и дети почти не спали, пока не услышали крика Юдену. Но мужчины были утомлены — и дремали сидя. Когда Юдена вскрикнула, все успокоилось — наконец-то они в безопасности — и поторопились занять место поближе к огню. Старуха, услышав крик Юдену — засмеялась; она смеялась еще и потому, что Си, маленькая приятельница Юдену, горько плакала. Лишь только начало светать — все быстро вскочили и побежали смотреть: что же делается там, у ольховых деревьев. Они увидели, что Юдену там не было. Они не могли удержаться от выражения своей радости при мысли, что Уйя удовлетворен. Но мужчины

вспомнили об Уф-Ломи — и радостное настроение их омрачилось. Они понимали право мести: ведь месть стара, как мир. И никакого выхода из положения они не видели. Вдруг из зарослей выскочила гиена и пробежала через заросшую тростником равнину. Морда и лапы у нее — были в крови. При виде гиены все мужчины закричали, схватили свои метательные камни и погнались за ней: нет животного, которое бы при дневном свете было презренней и трусливей гиены. Все мужчины ненавидели гиену за то, что она таскала детей и кусала тех, кому приходилось спать далеко от костра. Кошачья-Шкура, удачно нацелившись, попал гиене прямо в бок — и все племя завизжало от удовольствия.

Среди этого визга и шума вдруг послышалось хлопанье крыльев со стороны логовища льва: три белоголовых коршуна медленно поднялись оттуда и, описав в воздухе несколько кругов, уселись на ольхе, не спуская глаз с львиной берлоги.

„Наш Повелитель ушел“, — сказала старуха, указывая на них. — „Коршуны получили свою долю Юдену“.

Еще некоторое время коршуны сидели на ольхе, потом снялся один, а за ним и другой — и оба опустили вниз среди тростника.

А на востоке, над деревьями, возвращая всему миру жизнь и краски, запылали первые лучи восходящего солнца. Дети радостно закричали, захлопали в ладоши и побежали к реке. Только маленькая Си отстала; она с недоумением и грустью смотрела на ольховые деревья, — туда, где накануне вечером она видела голову Юдену.

Уйя, старый лев, никуда не ушел; он был дома, но лежал очень тихо, лежал на боку. Он лежал не в своем логовище, а немного в стороне, на утопанной траве. Под одним глазом у льва была маленькая рана — слабый след первого топора. Но по земле, возле него, тянулась темно-красная полоса, а на груди было маленькое отверстие, сделанное копьем Уф-Ломи. На боку и на шее льва виднелись уже следы работы коршунов. Уф-Ломи убил льва: сбитый с ног ударом могучей лапы — Уф-Ломи в отчаянии, наудачу ткнул копьем его. Он ударил копьем изо всех сил и, по счастью, попал великану прямо в сердце. Так настал конец господству льва, второму воплощению Уйи-Повелителя.

На холме суетились все сильнее: племя готовилось к охоте, оттачивались копыта и метательные камни. Никто не произносил имени Уф-Ломи из боязни вызвать этим его появление. Мужчины всей гурьбой уходят на охоту на день или два. Целью их охоты — был Уф-Ломи, потому что иначе он стал бы охотиться за ними.

Но Уф-Ломи лежал тихо и недвижно по ту сторону львиной берлоги, а Юдена сидела возле него, держа в руке ясеневое копье, залитое кровью льва.

V

БИТВА В ЛЬВИНОЙ ЧАЩЕ

Уф-Ломи лежал тихо, спиной к ольховым деревьям; его бедро представляло из себя, страшную на вид, красную массу. Если бы такую рану получил цивилизованный человек, он едва ли бы выжил, но тут вышло иначе. Юдена набрала терновых шипов, стянула этими шипами края ран Уф-Ломи, сидела возле него день и ночь; днем она отгоняла мух опахалом из тростника, а ночью — гиен, угрожая им первым топором. Скоро Уф-Ломи стал поправляться. Лето шло уже к середине, дождя не было. В первые два дня, пока раны Уф-Ломи еще не закрылись, почти ничего не ели. В этой низине, где они скрывались, не было ни кореньев, ни мелких животных, а река с ее улитками и рыбой была на открытом месте, ярдах в ста отсюда. Днем Юдене нельзя было выйти, потому что она боялась людей своего же племени, своих же братьев и сестер, а ночью — потому что она боялась зверей. Зверьям пришлось удовлетвориться тем, что они вместе с коршунами, рвали тело убитого льва. Неподалеку протекал родник, и оттуда Юдена в пригоршнях носила воду для питья. Место, где лежал Уф-Ломи, было скрыто от племени ольховой чащей и отлично защищено тростником и папоротниками. Убитый лев лежал вблизи своего старого логовища, на утопанной траве, ярдах в пятидесяти от Уф-Ломи. Сквозь папоротники можно было даже рассмотреть, как коршуны дрались между собой за лучшие куски, и отгоняли от льва шакалов. Над трупом льва кружились мириады мух, похожих на пчел, и Уф-Ломи было явственно слышно их жужжание. Когда рана Уф-Ломи зажила, это случилось всего через несколько дней, от льва остались только одни кости, — дочиста обглоданные, блестящие кости.

Днем Уф-Ломи, большею частью, сидел неподвижно, глядя куда-то перед собою; иногда он принимался бормотать о лошадях, медведях и львах; иногда по целым часам колотил землю топором и называл при этом по именам мужчин своего племени: было похоже, что он вовсе не боялся этим привлечь к себе племя. Но больше всего Уф-Ломи днем спал, хотя, надо сказать, из-за большой потери крови и

недостаточности пищи, — снов ему снилось мало. А ночами — ночи были короткие, летние — оба бодрствовали. По ночам, в темноте, вокруг них начинали двигаться какие-то существа, которых они никогда не видели днем. Несколько ночей гиены не появлялись, а потом, в одну безлунную ночь, пришла сразу целая дюжина их: гиены дрались за остатки льва. Всю ночь завывали гиены, и Уф-Ломи с Юденкой было явственно слышно, как хрустели кости у них на зубах. Но они знали, что гиена никогда не осмелится напасть на живое и бодрствующее существо и потому не очень-то боялись этих зверей.

Днем Юдена ходила по дорожке, протоптанной старым львом в тростниках; Юдена доходила до излучины реки, и здесь, спрятавшись в зарослях, подолгу наблюдала за племенем. Она ложилась возле тех самых ольховых деревьев, к которым еще так недавно ее привязали на растерзание льву; отсюда она видела: на холме у костра копошились маленькие отчетливые фигуры, как это было и тогда, в ту страшную ночь. Но Юдена мало рассказывала Уф-Ломи о том, что видела; Юдена боялась, что, называя сынов Уйи по именам, она привлечет их сюда: в те времена верили, что произнося вслух чье-нибудь имя, можно привлечь того человека, который носит это имя. Еще в первое утро после того, как Уф-Ломи убил льва, Юдена видела, как мужчины натащили свои копья и метательные камни и отправились на охоту за Уф-Ломи, оставив на холме женщин и детей. Охотники и не подозревали, как близко от них был Уф-Ломи. Выстроившись гуськом, они под предводительством Сисса-Следопыта осторожно шли по следам Уф-Ломи, по направлению к холмам. Юдена следила за женщинами и детьми: после того, как ушли мужчины, женщины стали собирать листья папоротника и сучья для ночных костров, а девочки и мальчики бегали и играли. Но кто, действительно, испугал Юдену, так это старуха. Вечером, когда большинство других было внизу у излучины реки, старуха вылезла и стала на обращенной к Юдене стороне холма, корявая, темная фигура жестикулировала так, что Юдена была почти уверена, что старуха ее видит. Юдена затаилась, как заяц в норе. Сверкающие глаза Юденки были прикованы к горбатой ведьме, долго глядела Юдена — и вдруг смутно поняла: старуха молилась льву, которого убил Уф-Ломи.

На следующий день охотники вернулись утомленные, притаив с собою оленя, Юдена с завистью смотрела на добычу. Затем произошло нечто странное. Юдена видела и слышала очень ясно, как старуха кричала, жестикулировала и указывала прямо на нее, на Юдену. Юдена испугалась и,

как улитка, отползла подальше. Но вдруг любопытство взяло верх: Юдена вернулась на свой наблюдательный пост; когда она снова подняла глаза, сердце у нее так и замерло: все мужчины, с оружием в руках, двинулись с холма прямо сюда, к ней.

Юдена не смела шелохнуться, прижалась вплотную к земле, только чтоб ее не заметили. Солнце было уже низко, и его лучи играли золотом на лицах мужчин. Юдена видела: они несли кусок жирного красного мяса, воткнутого на ясеневое копье. Вдруг они остановились. „Ну, идите же!“ — кричала старуха. Кошачья-Шкура заворчал и они двинулись дальше, ослепленными от яркого света глазами, шурясь в ту сторону, где была львиная чаша. „Здесь!“ — сказал Сисс. Они опустили ясеневое копье с мясом и воткнули его в землю. „Уйя!“ — закричал Сисс, — „получай твою долю. А Уф-Ломи мы убили. Правда, мы убили Уф-Ломи. Сегодня мы убили Уф-Ломи, а завтра мы принесем тебе его тело“. Остальные, хором повторяли слова Сисса.

Мужчины переглянулись, посмотрели назад, и, пятясь, стали возвращаться обратно. Сначала они шли, полубернувшись к чаще, затем, подойдя ближе к холму, они, все время оглядываясь, пошли скорее, скорее; потом пустились во всю прыть вплоть до самого становища. Сисс бежал сзади всех и он первый сбавил ход.

Солнце зашло, наступили сумерки; костры сияли красными пятнами на фоне туманной синевы далеких каштанов; голоса на холме звучали весело. Юдена лежала, почти не двигаясь, переводя взгляд с холма на оставленное мужчинами мясо, и опять на холм. Юдена была голодна, но боялась. В конце концов, она вернулась к Уф-Ломи.

При легком шуме ее шагов Уф-Ломи обернулся. Его лицо было в тени. „Принесла мне еду?“ — спросил он.

Юдена сказала, что ничего не могла найти, но что поищет еще, и пошла обратно по львиной тропинке до того места, откуда виден был холм. Но опять Юдена не могла заставить себя взять мясо: ее удерживал инстинкт животного, боящегося западни. Она чувствовала себя очень несчастной.

Юдена поползла обратно к Уф-Ломи — и тут услышала; Уф-Ломи ворочается и тяжело стонет. Еще раз вернулась к мясу. Здесь она увидела: что-то такое шевелится около копья с мясом; взглядевшись, в полутьме — она разглядела шакала. В один миг к ней вернулось мужество: она яростно прыгнула, закричала — и услышала рычание убежавшего шакала.

Она подошла: ясеневое копье лежало на земле, но мяса уже не было. Ей пришлось вернуться обратно и голодать с Уф-Ломи всю ночь. Уф-Ломи сердился на нее за то, что она не достала для него пищи; но ему она так ничего и не рассказала.

Прошло два дня; Уф-Ломи и Юдена все голодали, на третий день — племя убило лошадь. Повторилась та же церемония, и на ясеневом копье была оставлена в виде жертвы задняя нога; на этот раз Юдена уже не колебалась.

Жестами и словами она рассказала обо всем Уф-Ломи; он понял ее только тогда, когда съел большую часть принесенного Юденей мяса. А когда понял, история с лошадиной ногой показалась ему очень забавной. „Я Уйя“, — сказал он; „Я Лев, Я великий Пещерный медведь, я, который был только Уф-Ломи. Я Уау-хитрец. Это хорошо, что они стали меня кормить, потому что я подкормлюсь и всех их убью“.

На сердце у Юдены было легко и она смеялась вместе с Уф-Ломи. Затем она с удовольствием dokonчила то, что Уф-Ломи оставил ей от лошадиной ноги.

В эту ночь Уф-Ломи видел сон. На утро он велел Юдене принести ему зубы и когти льва, сколько их там найдется — и срубить ольховую дубину. Львиные зубы и когти Уф-Ломи очень искусно прикрепил к дубине, так что острия торчали снаружи. Он очень долго с этим возился и во время работы испортил два зуба. Это его очень рассердило, и он отбросил дубинку прочь. Но затем сам дотащился до того места, куда закинул дубинку и наконец прикрепил к ней львиные зубы. Получился небывалый сорт палицы: палица, утыканная зубами. В этот день Уф-Ломи и Юдене опять досталось много мяса: племя принесло льву новую жертву.

С того дня, как Уф-Ломи сделал себе дубинку с зубами, прошло много дней, — больше чем пальцев на руке и больше чем кто-нибудь в те дни мог сосчитать. Уф-Ломи спал, Юдена лежала в зарослях, наблюдая за становищем. Уже три дня не было мяса. Вышла старуха и начала молиться по своему. Пока она молилась, на склоне холма появились маленькая приятельница Юдены Си, и дочь первой девушки, которую любил Сисс; девочки постояли, посмотрели на костлявую фигуру старухи и стали передразнивать ее. Юдене это показалось забавным, но тут вдруг старуха быстро обернулась и увидела девочек. С минуту и старуха и девочки стояли неподвижно, а затем она бросилась на девочек с яростным криком и все три исчезли за гребнем холма.

Скоро дети замелькали между папоротниками на склоне холма. Маленькая Си бежала впереди — она была очень про-

ворная; другая девочка отстала и заливалась слезами: старуха вот-вот поймает ее. На вершине холма показался Сисс с костью в руке; Бо и Кошачья-Шкура покорно плелись за ним, тоже что-то такое доедая—и все трое смеялись и радовались, видя, что старуха так сердится. Тут старуха вскрикнула, поймала девочку и принялась ее бить; девочка заплакала; в общем, все это было отличным послеобеденным развлечением. Маленькая Си бежала еще некоторое время и затем остановилась не то от страха, не то из любопытства.

Вдруг, запыхавшись, с развевающимися волосами, примчалась мать девочки, которую била старуха. В руке у нее был камень, и старуха повернулась к ней, как дикая кошка. В драке старуха могла потягаться с любой женщиной, — недаром же она была главной хранительницей огня, несмотря на свой возраст. Но прежде, чем она успела что-нибудь сделать, Сисс закричал на нее, и поднялся страшный гвалт. Показались еще чьи-то вскоченные головы. Повидимому, все племя было дома и пировало. Но старуха уже не смела сорвать зло на ребенке, которому покровительствовал Сисс.

Все шумели и кричали, даже маленькая Си. Неожиданно старуха выпустила из рук девочку и быстро бросилась к Си: у Си не было друзей, Си поняла, что ей грозит опасность только тогда, когда старуха была уже в двух шагах. Со всех ног Си, с слабым криком ужаса, бросилась бежать, уже не разбирая куда бежит—и понеслась прямо к логовищу льва. Заметив наконец куда она попала, — Си свернула в сторону, в тростники.

Но старуха была удивительная женщина; проворства в ней было не меньше, чем злости, и скоро ей удалось ухватить и Си за развевающиеся волосы, это было ярдах в тридцати от Юдену. Теперь уже все племя сбегало с холма с криком и смехом—и готовилось полюбоваться потехой.

Что-то поднялось в Юдене, что-то такое, чего раньше в себе она никогда не замечала. И вот думая только о маленькой Си, и совершенно не думая о себе, Юдена выскочила из своего убежища и бросилась вперед. Старуха ее не видела: она слишком увлеклась тем, что била Си по лицу. И вдруг что-то тяжело, с маху ударило старуху по щеке. Она оглянулась и увидела между собой и маленькой Си Юдену; глаза у Юдену горели, щеки были красны. Старуха вскрикнула от удивления и ужаса, а маленькая Си, не понимая в чем дело, бросилась бежать по направлению к становищу. Все племя стояло и глазело на происходящее. Неожиданное появление Юдену — окончательно заставило

забыть и так уже ослабевший страх перед львом—и все племя кинулось к Юдене.

Во мгновение ока Юдена отскочила от присевшей к земле старухи и догнала Си. „Си!“—закричала она. „Си!“ Девочка остановилась. Юдена схватила девочку в объятия, прижалась лицом к ее избитому личику и, повернув обратно, побежала к своему жилищу—по направлению к берлогу старого льва. Старуха стояла теперь, выпрямившись во весь рост и в иступленной ярости осыпала Юдену бранными словами, но не решалась остановить ее; на повороте тропинки Юдена обернулась и увидела: все мужчины племени что-то кричат друг другу, а Сисс, бежит рысью по львиной дорожке.

Юдена, по узкой дорожке через тростники, пробиралась к укромному месту, где сидел Уф-Ломи с своим заживающим бедром. Уф-Ломи только что проснулся от крика и протирал себе глаза. И вот Юдена, его жена, подбежала к нему, с маленькой Си на руках. Сердце у нее готово было выскочить из груди. „Уф-Ломи!“—кричала она—„Уф-Ломи, сюда идет племя!“

Ничего не понимая, разинув рот, Уф-Ломи глядел на Юдену и на Си.

Держа Си на одной руке, другой рукой Юдена показывала туда, где было становище, и с помощью своего скудного запаса слов пыталась объяснить ему все происшедшее. Уже слышно было как мужчины кричали: повидимому они остановились по ту сторону зарослей. Юдена спустила с рук Си, схватила новую, усаженную львиными зубами дубину, сунула ее в руки Уф-Ломи и, отбежав ярда на три, схватила первый топор. „А!“—сказал Уф-Ломи, схватив свою палицу—он вдруг понял, в чем дело—и, помахав в воздухе палицей, начал с трудом вставать на ноги.

Он стоял, но до чего неуклюже. Одной рукой он придерживался за дерево и еле-еле касался земли ступней раненой ноги. В другой руке у него была его новая палица. Он посмотрел на свое заживающее бедро; вдруг тростники зашелестели, затихли, снова зашелестели—и показался Сисс. Согнувшись, он шел осторожно по следу, неся свое, обожженное на огне, ясеновое копьё. Вдруг он остановился, как вкопанный: его глаза встретились с глазами Уф-Ломи.

Уф-Ломи моментально позабыл о своем раненом бедре. Он крепко стал на обе ноги. Что-то закапало. Уф-Ломи посмотрел вниз—и увидел: по краям его заживающей раны стекали капли крови. Уф-Ломи помочил в крови руку, чтобы было удобнее держать дубинку и устремил глаза на Сисса.

„Уау!“ — закричал он и бросился вперед, а Сисс, который все еще стоял, не спуская глаз с врага, быстро метнул копье. Копье распороло вытянутую для защиты руку Уф-Ломи, а дубинка опустилась на голову Сисса. Об этом ударе Сисс уже никому не мог рассказать: как бык под топором, он упал прямо к ногам Уф-Ломи.

Бо все это показалось в высшей степени странным. Он чувствовал себя в безопасности: по обе стороны покачивались высокие тростники, и, кроме того, в качестве неприступного укрепления между ним и главной опасностью — находился Сисс. С тылу его прикрывал Улиткоед; стало быть, и с этой стороны все обстояло благополучно. Он уже решил, было, держаться сзади, а смерть или победу предоставить на долю Сисса. Сам Бо всегда довольствовался второстепенной ролью. Бо видел, как Сисс метнул свое копье, потом вдруг услышал глухой удар, широкая спина Сисса упала, и прямо перед Бо очутился Уф-Ломи, стоящий над повергнутым на землю предводителем. Душа у Бо ушла в пятки. В одной руке он держал метательный камень, в другой — ясеневое копье. Он не дожидаясь конца своего мгновенного размышления: какое оружие лучше пустить в ход.

Улиткоед был хитрее: он действовал не как Бо и не как Сисс, попавший первым. Когда усаженная зубами дубинка поднялась над головой Улиткоеда, он присел на корточки, съежился, и быстрым, метким движением бросил свое копье; копье попало Уф-Ломи в плечо. И тотчас же, крикнув, швырнул в Уф-Ломи метательным камнем, который держал в другой руке. Новая палица Уф-Ломи дала промах и пролетела в тростники. Юдена видела, как Уф-Ломи, шатаясь, повернул с узкой тропинки к открытому месту и по пути споткнулся о Сисса: из руки Уф-Ломи — торчал конец ясеневое копье. Вслед за копьем из тростников показалось торжествующее лицо Улиткоеда. Улиткоеду именно Юдена дала это прозвище — и от нее он получил еще одну, последнюю обиду: как только высунулся Улиткоед — Юдена быстро и высоко взмахнула первым топором и попала ему прямо в висок. Улиткоед упал рядом с Сиссом к ногам распростертого Уф-Ломи.

Не успел Уф-Ломи подняться, как из тростников, держа наготове копья и метательные камни, выскочили оба Рыжеволосых, а за ними следом — Змея. Одного из них Юдена ударила по шее, но он удержался на ногах: он откатнулся в сторону и это помешало его брату нанести верный удар в голову Уф-Ломи. С быстротой молнии Уф-Ломи отшвырнул свою палицу, схватил нападающего за пояс и отбросил

его в сторону. Затем снова кинулся к палице — и палица опять в руках у Уф-Ломи. Тем временем Рыжеволосый, которого оглушила Юдена, уже успел оправиться от удара и бросился на Юдену с копьем. Юдена, чтоб избежать его, невольно сделала шаг назад. Рыжеволосый одну секунду колебался: на кого ему обрушиться — на Юдену или на Уф-Ломи? Уф-Ломи был ближе: Рыжеволосый полуобернулся к нему, испустил дикий вопль. Но тотчас же Уф-Ломи схватил его за горло — и дубина нашла себе третью жертву. Покончив с ним, Уф-Ломи закричал; это были не слова, а громкий, победный крик.

Второй рыжеволосый лежал в шести футах от Юдены; видна была его спина и голова — по волосам бежала темно-красная струйка. Он силился стать на ноги, Юдена инстинктивно, не рассуждая, почувствовала, что надо помешать этому. Она бросила в него топором, но промахнулась. Мелькнул профиль Рыжеволосого, он присел сзади за маленькой Си и затем бросился бежать через тростники. Неясным видением показалаась фигура Змеи: он стоял в самом начале тропинки, вполоборота к Юдене — и вдруг быстро повернулся спиной. Юдена увидела: дубинка Уф-Ломи завертелась в воздухе — и затем его косматая голова, его окровавленные волосы и плечо скрылись в тростниках, следом за Змеей. Скоро Юдена услышала крик Змеи, похожий на вопль женщины.

Юдена пробежала мимо Си к тому месту, где среди папоротников виднелась рукоять топора. Оглядевшись, Юдена увидела, что стоит одна посреди трех неподвижных тел. У нее захватило дыхание. Воздух был полон криков и воплей. На минуту она почувствовала страшную слабость и головокружение, но вдруг ей пришло в голову, что ведь Уф-Ломи могут убить там, на узкой тропинке среди тростников. С невнятным криком Юдена перескочила через труп Бо и побежала вслед за Уф-Ломи. Поперек тропинки лежали ноги Змеи; голова его была в тростниках. Миновав Змею, Юдена бежала вплоть до того места, где тропинка делала крутой поворот и упиралась в ольховые деревья. Отсюда она увидела, что все уцелевшие сыны Уйи рассыпались по лугу, как листья от ветра и мчатся назад, к становищу.

Уф-Ломи наседали на Кошачью-Шкуру. Но Кошачья-Шкура был быстроног и Уф-Ломи не удалось его догнать. Уф-Ломи повернул за молодым Уау-Хау, долго гнался за ним, и оставил его только тогда, когда они забежали уже далеко за холм. Воинственный пыл охватил Уф-Ломи: торчавший в его плече дротик действовал на него, как шпоры на коня. Увидев, что ему уже не грозит никакой опасности, Юдена

остановилась и тяжело дыша, глядела, как вдалеке пробегали черные фигурки и одна за другой пропадали, переваливая через гребень холма. Скоро Юдена оказалась одна. Все это произошло очень быстро. В становище попрежнему пустым столбом поднимался вверх дым от Брата-Огня; все было совершенно так же, как и десять минут тому назад, когда старуха стояла вон там и молилась льву.

Но показалось, что прошло очень много времени до того момента, когда Уф-Ломи снова появился из-за холма. Он подошел к Юдене весь сияющий торжеством, тяжело дыша после погони. У Юдены лицо горело, волосы свешивались ей на глаза, в руке у нее был окровавленный топор. Она стояла на том самом месте, где племя принесло ее в жертву льву. „Уау“, — закричал Уф-Ломи Юдене. На лице его еще горел отблеск битвы, он размахивал своей новой палицей, покрытой вражеской кровью и волосами. При виде его оживленного лица, напряженное состояние у Юдены прошло, и слезы радости потекли по ее лицу.

Странное непостижимое волнение сжало сердце Уф-Ломи при виде ее слез, но он только громче крикнул: „Уау!“ и еще воинственней замахал топором направо и налево. Он решительно, по-мужски, приказал ей следовать за ним и, повернувшись, размахивая палицей, большими шагами пошел к становищу, как будто бы никогда и не покидал племени; Юдена вытерла слезы и быстро последовала за ним, как и подобало женщине.

Таким образом Уф-Ломи и Юдена вернулись обратно в становище, из которого бежали много дней тому назад от лица Уйи; возле очага лежал на половину съеденный олень, как бывало и в те дни, когда Уф-Ломи еще не был мужчиной, а Юдена женщиной. Уф-Ломи сел и стал есть, рядом с ним, как мужчина, уселась Юдена, а остальные смотрели на них издали из безопасного укромного уголка. Через некоторое время робко подошла одна из старших девочек, держа на руках маленькую Си. Юдена позвала их по имени и предложила поесть. Старшая девочка была так напугана, что не решилась подойти, но Си барахталась у нее на руках и тянулась к Юдене. Наевшись досыта, Уф-Ломи задремал, сидя, а потом свалился и заснул. Тогда все племя, один за другим, повывлезло из-за кустов и подошло ближе к костру. Когда Уф-Ломи проснулся, ему показалось, что он никогда и не уходил отсюда: все было по старому, только не было видно мужчин.

Пусть это покажется странным — но это совершенно достоверный факт: во время битвы Уф-Ломи забыл, что он

хромает, и не хромал, но как только битва кончилась — он захромал снова и остался хромым до конца своих дней.

Кошачья-Шкура, второй Рыжеволос и Уау-Хау, искусно обтачивающий кремни, как это делал до него его отец, бежали от лица Уф-Ломи и скрылись неизвестно куда. Но через два дня они вернулись, сели на корточки недалеко от холма, в папоротниках под каштанами, и стали ждать. Гнев Уф-Ломи уже прошел, он, было, шагнул по направлению к ним, но раздумал; с закатом солнца они снова исчезли. В тот же день среди папоротников нашли и старуху; она лежала на том самом месте, где Уф-Ломи наткнулся на нее, преследуя Уау-Хау. Старуха была мертва; мертвая — она казалась еще безобразней, чем всегда. Шакалы и коршуны попробовали ее мясо — и оставили ее в покое; недаром же она всегда слыла удивительной женщиной.

На следующий день трое мужчин снова пришли и сели на корточки на этот раз уже поближе к костру. Уау-Хау держал на виду двух кроликов, а Рыжеволос — лесного голубя; Уф-Ломи стал впереди женщин и издевался над Уау и Рыжеволосым.

На третий день они подсели еще ближе; теперь они пришли уже без камней и копий, но опять принесли с собою дары; у Кошачьей-Шкуры, вдобавок к прочему, была форель. В те дни редко кто умел ловить рыбу, но Кошачья-Шкура целыми часами неподвижно простаивал у воды и ему удавалось ловить рыбу руками. Наконец, на четвертый день Уф-Ломи разрешил всем троим с миром вернуться на становище и принял их дары. Уф-Ломи съел форель. Много лун после этого Уф-Ломи был вождем и все беспрекословно подчинялись ему. А когда пришло его время — он был убит и съеден так же, как в свое время был убит Уйя.

Перевела с английского

Н. Кранихфельд

РАССКАЗ О ГРЯДУЩИХ ДНЯХ
A STORY OF THE DAYS TO COME

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЮБВИ

Великолепный мистер Моррис был англичанин и жил в дни королевы Виктории Благополучной. И был он человек состоятельный и очень рассудительный. Он читал газету „Таймс“ и аккуратно ходил в церковь. И когда ему перевалило за сорок, на лице у него застыло выражение спокойного презрения ко всем людям иного сорта, чем он сам.

Он был один из тех людей, которые делают все в меру и во-время, как подобает порядочному человеку. Он всегда носил платье такое, как подобает, совсем не франтовское, но и отнюдь не обтрепанное; делал надлежащие взносы на соответственные богадельни, без хвастовства, но также и без скупости. И даже волосы его всегда были острижены до подобающей длины.

Все, что подобает иметь порядочному человеку в его положении, м-р Моррис имел. И что не подобает иметь порядочному человеку в его положении, того он не имел.

В числе всякого другого подобающего имущества м-р Моррис имел также жену и детей. Конечно, и жена была такая, как подобает, и детей именно столько и именно такие, каких подобает иметь порядочному человеку. И насколько было известно м-ру Моррису, не было за ними никаких фантазий и причуд. Они одевались прилично и солидно и жили в прекрасном доме, выстроенном с претензией на стиль времен королевы Анны, как это было в моде при королеве Виктории. Вместо бревен была лепная штукатурка с поддельным рельефом, и стены были обложены поддельным дубом, и терраса была из жженной глины с подделкой под мрамор, и над парадною дверью были цветные стекла, в роде тех, какие бывают в церквях.

Сыновья м-ра Морриса учились в солидных учебных заведениях и готовились к почтенным профессиям. Дочери его,

несмотря на некоторые протесты, довольно фантастичные, были выданы замуж за приличных молодых людей, солидных и старообразных, с родством и связями. И наконец, когда настало подобающее время, м-р Моррис умер. Его могильный памятник был сделан из мрамора, без глупых и трогательных надписей, почтенный и солидный, какой вообще полагался по стилю той эпохи.

После смерти своей м-р Моррис подвергся подобающим изменениям, и задолго до начала нашего рассказа его тело и кости уже превратились в прах и развеялись на все четыре стороны. Его дети и внуки, и правнуки, и праправнуки тоже обратились в прах и тлен и развеялись по ветру. При жизни своей он бы ни за что не поверил, что в один из грядущих дней даже прах его правнуков развеется по ветру. И если бы кто стал распространяться об этом, он принял бы каждое слово, как личную обиду.

Он был один из тех почтенных людей, которые ни капли не интересуются грядущим. И, кажется, он даже полагал молчаливо, что после его смерти не будет никакого грядущего. Тем не менее это грядущее настало, и после того, как прах его потомков до четвертого поколения смешался с землею, и дом с претензией на стиль рассыпался вместе с другими претензиями, и „Таймс“ исчез, и цилиндр совершенно вышел из моды, и даже солидный могильный памятник был пережжен на известь и попал в бочку с цементом, и все, что м-р Моррис считал почтенным и незыблемым, рухнуло и рассыпалось,—после всего этого мир все-таки продолжал, как ни в чем не бывало, идти вперед и люди жили так же, как и покойный м-р Моррис,—не заботились о грядущем и вообще ни о чем—кроме собственных дел, семьи и имущества.

И странно сказать,—даже малейший намек об этом обстоятельстве в свое время наверное разгневал бы м-ра Морриса,—но теперь по всему свету жили и дышали, повсюду были расбросаны люди, в жилах которых текла кровь м-ра Морриса. Точно так же, как будет потом в надлежащее время разбросана жизнь и кровь каждого читателя этой правдивой истории и смешана вместе с сотнями других таких же источников жизни, вне пределов расчета и исследования.

В числе потомков этого м-ра Морриса был один, столь же трезвый и рассудительный, как и его предок. Он был такого же приземистого плотного сложения, как тот древний человек девятнадцатого века, от которого он заимствовал свое имя Моррис ¹⁾—теперь это имя писалось фонетиче-

¹⁾ В подлиннике—Morris.

ски: Морис ¹⁾. Лицо его имело точно такое же полупрезрительное выражение. Был он также человек состоятельный по современному масштабу, и не любил „новомодных штук“ и бредней о будущем прогрессе и о положении рабочего класса,—точь в точь, как не любил всего этого его предок Моррис.

Он не читал газеты „Таймс“ и даже едва ли знал, что когда-либо на свете существовала такая газета, ибо газеты давно исчезли в бездне времен. Но говорящий аппарат, который сообщал ему новости по утрам,—был как будто живой голос покойного Бловица, воплощенный в стальном механизме.

Этот говорильный аппарат походил размерами и формой на круглые стенные часы. С передней стороны, внизу, были электрический барометр, такой же календарь и хронометр, и кроме того автоматический указатель предстоящих деловых свиданий. Но вместо циферблата часов зияло открытое устье металлического рупора.

Когда в аппарате имелись новости, из рупора несло: „галлоуп, галлоуп!“ как будто индюк клохтал, и тотчас же резкий голос выкликал громогласно каждый параграф. Он сообщал Морису ясным, звучным, немного гортанным голосом обо всех происшествиях за минувшие полусутки; о несчастных случаях на воздушных поездах, летавших кругом света; о приездах знатных особ в Тибетские горные курорты; и о собраниях акционеров больших монопольных компаний за прошлый вечер. Слушая все это, Морис одевался. И если ему надоедали эти сообщения, он нажимал кнопку, аппарат на секунду как будто давился, а потом начинал говорить о чем-нибудь другом.

Конечно, туалет Мориса совсем не походил на туалет его предка. И трудно сказать даже, который из двух был бы больше смущен, очутившись в платье другого. Морис во всяком случае, скорее бы вышел на улицу совсем нагишом, чем согласился бы натянуть на себя черный фрак, серые брюки, перчатки и цилиндр, хотя именно это платье когда-то придавало мистеру Моррису его самоуверенную солидность.

И затем—Морису не приходилось уже бриться. Искусный оператор давно удалил с его лица каждый волос вместе с корнем. Одеваясь, он прежде всего натягивал брюки красивого янтарно-розового цвета, из материи, непроницаемой для воздуха. Он надувал их при помощи ручной помпы так, чтобы получилось впечатление, что у него здоровые крепкие мускулы.

¹⁾ В подлиннике—Mwres.

После того, он надевал прямо на тело такую же пневматическую куртку. Таким образом костюм Морис'а представлял из себя изолирующий воздушный слой и прекрасно защищал против жары и холода. Сверх пневматического костюма Морис набрасывал тунику из тонкого шелка янтарного цвета—и в заключение алый плащ с причудливо вырезанным краем. На голове у Морис'а давно уже не было волос: все волосы были искусно удалены, и Морис носил красивую ярко-красную шапочку. Шапочка эта была слегка надута водородом и, присасываясь, крепко держалась на голове; этот головной убор больше всего походил на петушинный гребешок. Сознавая скромность и приличие своего костюма, Морис спокойным взором смотрел прохожим в лицо.

Этот Морис (вежливый титул „мистера“ давно уж вышел из употребления) состоял на службе в Управлении Главного Треста Воздушных и Водяных Двигателей, который владел всеми воздушными турбинами и водопадами на земном шаре и снабжал человечество электрической энергией и также водою.

Он жил в огромной гостинице на Седьмой улице и занимал обширное и комфортабельное помещение на семнадцатом этаже. Домашнее хозяйство и семейная жизнь давно уступили место более утонченным формам общественности. Домашняя прислуга исчезла; кухня усложнилась; требования личного комфорта значительно повысились; арендная плата за землю в городах очень поднялась; вести отдельное хозяйство не было никакой возможности, если бы даже кто и обладал такими варварскими вкусами, как во времена королевы Виктории...

Окончив свой туалет, Морис вышел в широкий коридор, в середине которого проходила подвижная платформа. На платформе были расставлены стулья и на стульях сидели изящно одетые мужчины и дамы.

Раскланявшись с знакомыми,—разговаривать до завтрака считалось неприличным,—Морис занял один из стульев и через несколько секунд подъехал к лифту. На лифте он спустился в большой роскошный зал, где автоматически подавался завтрак.

Однако, завтрак теперь был совсем не такой, как во времена королевы Виктории. Толстые каравай хлеба, которые надо было резать на ломти и намазывать маслом для того, чтобы сделать их съедобными; куски мяса, изрубленные и поджаренные, чтобы хоть слегка замаскировать, что это—трупы животных; яйца, только что взятые из-под испуган-

ной курицы—вся эта грубая пища внушала бы только отвращение и ужас утонченному вкусу современных людей.

Теперь готовились пирожки и печенья приятного вида и разнообразной формы, так что уже не было ни малейшего сходства с внешним видом несчастных животных, которые отдали свое тело и свою кровь на приготовление этих изящных блюд.

Блюда появлялись из особого шкафчика сбоку стола и автоматически катились по рельсам вперед. Поверхность стола на взгляд и на ошупь человеку 19-го века показалась бы покрытой камчатным полотном. На самом деле это был оксидированный металл, который очень легко можно было вымыть тотчас же после еды. В зале были сотни таких столиков, и за столиками по одному или целыми компаниями—сидели современники Мориса. Когда Морис сел за стол, заиграл незримый оркестр—и звуки заполнили весь зал.

Но Морис не интересовался ни завтраком, ни музыкой. Его глаза все обращались к проходу между столами, как будто он поджидал кого-то запоздавшего. Наконец, он быстро встал и сделал кому-то приветственный жест рукой.

В проходе показался господин, высокий и смуглый, в двухцветном желто-зеленом костюме.

У него было бледное лицо и напряженный, странно серьезный взгляд. Медленными, размеренными шагами человек этот подошел ближе. Морис сел и рядом с собою поставил стул для пришедшего.

— Я думал уже, что вы не придете,—сказал Морис.

Хотя и прошло уже много времени, английский язык все еще оставался почти таким же, каким он был в эпоху Виктории Благополучной. Применение фонографа и других приспособлений для записи звуков и постепенная замена книг такими звуковыми записями не только спасли человеческое зрение, но одновременно еще ввели в обиход хорошие образцы языка, и тем остановили представлявшийся столь неизбежным процесс изменения человеческой речи.

— Меня задержал пациент,—сказал господин в желто-зеленом—и правду сказать, довольно интересный... Видный политический деятель... гм... страдает от переутомления...

Он посмотрел на завтрак и присел к столу.

— Я, знаете, не спал почти двое суток...

— Скажите!—сказал Морис,—двое суток не спали! Вам, гипнотизерам, видно, покою не дают.

Гипнотизер положил себе на тарелку густого янтарного желе.

— Ко мне обращаются многие,—сказал он скромно.

— Бог знает, что бы мы делали без вас.

— О, мы уж вовсе не так необходимы,—возразил гипнотизер, медленно смакуя желе.—Свет обходился без нас не одну тысячу лет. Даже двести лет назад нас еще не было, по крайней мере, в практической медицине. Были, конечно, лекаря, сотни и тысячи, по большей части невежды страшные и все—как бараны; у всех—одни и те же рецепты. Но врачей духа—не было совсем, если не считать нескольких грубых, эмпирических попыток в этой области.

Он замолчал и занялся своим желе.

— Разве в то время людские умы не подвергались болезням?—спросил Морис.

Гипнотизер покачал головой:

— В то время не обращали внимания, если кто и бывал немного с придурью. Жить было легко и просто. Не было такого соперничества. Уж разве у кого в голове было здорово неладно—ну тогда замечали. Тогда отправляли людей. Только тогда можно было отправить в этот, как его называли,—дом умалишенных.

— Я знаю,—сказал Морис.—В этих глупейших исторических романах, которые теперь вошли в такую моду, герой постоянно спасает молодую девицу из дома умалишенных, или из другого места в таком же роде... Меня, впрочем, весь этот вздор не очень интересует.

— Меня интересует,—сказал гипнотизер.—Так увлекательно думать об этих странных, причудливых, полудивилизованных днях 19-го века, когда мужчины были мужественны, а женщины наивны. Мне нравятся повести с такими приключениями. Любопытное было время: грязные железные дороги; паровозы, изрыгающие клубы дыма; странные маленькие домики; запряженные лошадьми повозки. Вы, должно быть, не читаете печатных книг?

— Ну, нет,—сказал Морис.—Я учился в новой школе, и мы не занимались такой устарелой чепухой. С меня совершенно довольно и говорильных машин.

— Без сомнения,—сказал гипнотизер и стал выбирать для себя новое блюдо,—без всякого сомнения.

— Знаете ли,—начал он снова, накладывая себе на тарелку порцию темно-голубого паштета, который выглядел весьма аппетитно,—в те дни о нашем искусстве никто и не думал. Если бы тогдашним людям кто-нибудь сказал, что через две сотни лет целый класс врачей будет специально заниматься лечением духа и памяти, внушать полезные идеи, изглаживать воспоминания, побеждать и регулировать вредные инстинкты, и все это посредством гипнотизма,—да они

бы никогда не поверили, что такие вещи возможны. Только немногие знали о том, что приказание, полученное под гипнотическим внушением, даже приказание забыть или приказание хотеть, будет непременно исполнено потом по окончании сеанса. А между тем и тогда уже иные могли бы указать, что такой результат от внушения наступает в свое время с неизбежностью не меньшей, чем, скажем—прохождение Венеры. И тогда уже иные предвидели, что должно выйти из гипнотического внушения.

— Разве тогда уже знали о гипнотизме?

— О, да. Его даже применяли для удаления зубов без боли, и так далее... Этот голубой паштет удивительно вкусен. Что это такое?

— Не имею понятия,—сказал Морис,—хотя правда: он очень хорош. Возьмите еще.

Гипнотизер похвалил еще раз и взял новую порцию.

— Между прочим,—начал опять Морис, стараясь принять небрежный тон,—по поводу этих романов, э... Мне вспомнилось, э... что я хотел говорить с вами о чем-то подобном...—он замолчал и перевел дух.

Гипнотизер слегка насторожился, не оставляя еды.

— Видите ли,—сказал Морис,—дело в том, э... что у меня есть дочь. Я, знаете ли, дал ей, э... тщательное воспитание. Не было такого лектора—из самых выдающихся, чтобы она от него не имела телефонного провода. Танцы, пластика, манеры, философия, художественная критика... и все такое.

Он сделал рукою широкий жест.

— Я, видите ли, думал выдать ее замуж за друга моего Биндона. Из общества Летательных Станций. Знаете, такой невысокий брюнет; человек не совсем приятный, если правду сказать, но в общем отличный малый.

— Да,—сказал гипнотизер.—А сколько ей лет?

— Восемнадцать.

— Опасный возраст... Дальше...

— Видите ли. Она, я вам скажу, начиталась этих романов до крайности, даже философию забросила. Забрала себе в голову всякий вздор, например, о войнах, которые сражались с этими, как их, этрусками, что ли?

— Быть может, с египтянами.

— Очень возможно. Пускай с египтянами. Дрались, знаете ли, мечами и пистолетами и всякими штуками,—ужас такой,—и еще об юных героях на миноносках, которые взрывали испанцев, кажется,—и о других таких же авантюристах. И по этому поводу решила, что она должна выйти замуж по любви. А этот бедный маленький Биндон...

— Понимаю, мне приходилось лечить таких,—сказал гипнотизер.—А как зовут того, другого?

Морис с виду сохранял полнейшее хладнокровие.

— Не знаю даже, как и ответить,—начал он смущенно.—Этот человек,—голос его понизился почти до шопота,—просто служащий на одной из платформ, где пристают парижские аэропланы. Он, как это говорится в романах,—приятной наружности, и очень молод, и очень эксцентричен. Увлекается стариной, умеет читать и писать. И она тоже. И вместо того, чтобы разговаривать по телефону, как делают разумные люди, они пишут и пересылают друг другу эти, как их...

— Записки?

— Нет, не записки... Как это... Ах, да, поэмы!

Гипнотизер поднял вверх брови.

— Как они познакомились?

— Случайно. Она споткнулась, выходя из парижского аэроплана, и он подхватил ее. Минуты было довольно, чтобы произошла эта скверная история.

— Ну,—сказал гипнотизер,—что же еще?

— Разве этого мало?—сказал Морис.—Надо их остановить. Именно ради этого я и просил вас приехать. Что нужно сделать? И что возможно? Я ведь не знаю. Я не специалист. Но вы...

— Гипнотизм —не волшебство,—сказал господин в зеленом, опираясь обеими руками на обеденный стол.

— Да, конечно. Но все-таки...

— Людей нельзя гипнотизировать против их воли. Если у нее хватило духу, чтобы воспротивиться браку с Биндоном, то хватит, конечно, и на то, чтобы оттолкнуть гипнотическое внушение. Но если бы удалось ее загипнотизировать каким хотите способом, тогда...

— Вы могли бы...

— Да, конечно. Только бы нам подчинить ее гипнозу, и тогда мы можем внушить ей, что она должна выйти замуж за Биндона, что это ее судьба, или что тот молодой человек отвратителен, и что вид его должен вызывать у нее тошноту, или еще что-нибудь в том же роде. Или же мы можем усыпить ее покрепче и внушить ей полное забвение обо всем этом.

— Вот это лучше всего.

— Вся задача в том, как ее загипнотизировать. Вам, конечно, не следует и виду подавать. Против вас она и без того настроена.

— Как это глупо,—проворчал Морис,—человек не может располагать собственной дочерью!

Гипнотизер немного подумал.

— Дайте мне имя и адрес девушки,—сказал он,—и все сведения, какие у вас есть. Кстати, не замешаны ли тут денежные вопросы?

Морис замялся.

— Есть некоторая сумма, даже, если хотите, значительная сумма, в бумагах Дорожной Компании... наследство от матери. Это особенно досадно.

— Понимаю,—сказал гипнотизер. И допрос продолжался.

Между тем Элизабет Морис сидела в приемной в одном из верхних этажей Летательной Станции, вместе с своим другом. Он читал ей поэму, которую написал в это утро во время дежурства на станции. Кончил.—и оба замолчали. И в эту самую минуту с высоты, с неба стал спускаться аэроплан, возвращавшийся из Америки. Вначале он был, как маленькое бледное пятнышко среди далеких прозрачных облаков. И почти тотчас же пятнышко стало белее и шире, выросло—и они могли уже разглядеть ряды парусов, каждый парус шириной в несколько сот футов, и длинный корпус машины, и даже пассажирские кресла, которые отсюда представлялись линией точек. И хотя аэроплан падал вниз, казалось, что он поднимается в небо, и его черная тень запрыгала по городской кровле, направляясь к ним. Раздался шум рассекаемого воздуха и резкий свисток. Это сирена машины извещала платформу о своем приближении. И тотчас же свисток оборвался; аэроплан спустился вниз, и небо по-прежнему было свободно и ясно.

Элизабет снова взглянула в лицо своему другу. Дэнтон прервал молчание и стал говорить о том, как они разорвут все путы, в одно прекрасное утро взлетят в небеса на таком же аэроплане и направятся в другое полушарие, в солнечный город веселья, на берегу Японского моря. По временам Дэнтон начинал говорить на том странном языке, который целиком состоит из уменьшительных и ласкательных и на котором испокон веков говорят влюбленные; впрочем, как и все влюбленные, Дэнтон считал, что этот язык—именно его изобретение.

Слушать Дэнтона ей было приятно и вместе—несколько страшно. И когда он стал умолять, чтобы это чудное утро настало скорее, она сказала застенчиво. „Милый, потом... когда-нибудь“... И после того ему пришлось вернуться наверх на дежурство. Она прошла к подъемной машине, поднялась вверх и вышла на одну из городских улиц, открытую сверху стеклянной кровлей и полную бегущих платформ. На одной из этих платформ она доехала до своей

квартиры в Большом Женском Отеле и для того, чтобы развлечь свои мысли, присоединила телефон к ученому лектору. Но в сердце у нее сияло яркое солнце с летательной станции, и перед этим сиянием вся ученость в мире казалась скучной и серой.

Она провела полдень в гимнастическом зале и пообедала вместе с двумя другими подругами и общей компаньонкой: в зажиточных классах еще держался обычай брать компаньонку для девушек-сирот. У компаньонки был гость, приличный господин в зеленом и желтом; у гостя было бледное лицо и живые глаза. Он завел интересный разговор и, между прочим, стал хвалить новый исторический роман популярного беллетриста, только-что выпущенный в свет. Этот роман касался эпохи Виктории, и автор в подражание старомодным книгам ввел отдельные заголовки для каждой главы; например: „Как извозчики из Пимлико задержали омнибусы с Викторией и о битве в Дворцовом квартале“, или: „Как полисмен на Пиккадили был убит среди белого дня при исполнении служебных обязанностей.“

Господин в зеленом и желтом похвалил это нововведение.

— Меня привлекают эти яркие заголовки, — сказал он. — Они с двух слов вводят вас в этот причудливый буйный мир, где люди на грязных улицах натыкались на животных и на каждом углу могла встретиться смерть. В то время была настоящая жизнь! Каким широким должен был казаться людям наш маленький свет. Были даже страны еще неизведанные. Мы, современные люди, почти уничтожили самую способность удивляться. Жизнь наша протекает в таком образцовом порядке, что совершенно не осталось места для мужества, терпения, веры и разных благородных страстей.

Он говорил и говорил, увлекая воображение слушательниц, и наконец, эта жизнь, которую они вели в огромном Лондоне 22-го века, перемежая ее поездками во все концы земли, эта жизнь стала казаться бледной и скучной в сравнении с красками преображенного прошлого.

Элизабет слушала молча, но постепенно заинтересовалась и даже робко стала вставлять короткие фразы. Господин в желто-зеленом отвечал мимоходом и тотчас же возвращался к своему увлекательному рассказу. Теперь он описывал новый метод художественного восприятия. Люди подвергаются гипнотизации и посредством ряда искусных внушений приходят к тому, что воображают себя живущими в древнее время. Они переживают любой исторический роман — как подлинную жизнь, и после пробуждения у них остается об этом воспоминание, как о действительных событиях.

— Мы искали этот способ много лет, — говорил гипнотизер, — и наконец нашли. Теперь мы создаем искусственные сны. Подумайте, — какие это дает надежды обогатить человеческий опыт, оживить фантазию, дать человеку убежище от этой прозаической жизни.

— И вы этого достигли? — с жаром спросила компаньонка.

— Да, достигли, — сказал гипнотизер. — Вы можете заказать себе сон по собственному выбору.

Компаньонка первая подверглась внушению и, проснувшись, была потрясена чудесной живостью сна.

Две другие девушки, заразившись ее энтузиазмом, тоже отважились сделать экскурсию в чудесное прошлое.

Элизабет никто не приглашал последовать их примеру. Она соблазнилась сама и рискнула спуститься в царство грез, где исчезает свободный выбор и свободная воля.

Так удалась эта маленькая хитрость.

На следующее утро Дэнтон напрасно ждал в прежней зале под станцией. Элизабет не пришла. Он огорчился и даже рассердился. Она не пришла на второй и на третий день. Тогда он испугался. Чтоб скрыть свой страх от самого себя, он стал составлять ряд новых сонетов, собираясь прочесть их Элизабет при первой же встрече.

Три дня он подавлял свое беспокойство, но наконец — правда предстала перед ним, ясная, холодная, неоспоримая. Она должно быть заболела или, быть может, умерла, — он не хотел допустить, что она разлюбила. Еще неделя прошла в медленной пытке. И потом он увидел, что на всей земле ему нужно только ее одну, и пусть никакой надежды нет: все равно, он будет искать ее, пока не отыщет.

У него были кой-какие деньги. Он бросил свое место и стал отыскивать девушку. Он не знал условий ее семейной жизни, не имел даже ее адреса: Элизабет хотела, чтобы их красивую любовь не портили эти ненужные подробности, а в особенности заботилась о том, чтобы как-нибудь не обнаружилась разница в их материальном положении.

Городские улицы открылись перед Дэнтоном направо и налево, на восток и на запад. Даже еще в эпоху Виктории Лондон был лабиринтом, — маленький Лондон с его жалким четырехмиллионным населением. А теперь это был уже Лондон 22-го века с населением в тридцать миллионов. Дэнтон сначала искал с неослабной энергией, не оставляя себе времени даже на еду и на сон. Минули недели и месяцы, он прошел сквозь все стадии усталости, отчаяния, уныния и гнева. Уже не оставалось ни малейшей надежды, но Дэнтон еще долго расхаживал по улицам почти машинально, загля-

дывал в лица, толкался в толпе, скитался по всем переулкам, проходам и подъемам этого огромного человеческого улья.

Наконец, совсем неожиданно Дэнтон увидел ее.

Был праздничный день. Дэнтону захотелось есть. Он заплатил за билет и вошел в обеденную залу одного из больших городских ресторанов. Пробираясь вперед между бесчисленными столами, машинально разглядывал он лица сидевших людей.

И вдруг остановился, не веря глазам. Совсем близко, в десяти шагах, сидела Элизабет и смотрела прямо на него. Глаза у нее были холодные, чужие, равнодушные, как у статуи. Она остановила глаза на Дэнтоне, потом взгляд ее скользнул дальше.

Уж не обознался ли он? Нет, это была она. Он узнавал каждый жест ее руки, каждый локон, своенравно падавший на белую шею. Сидевший рядом с Элизабет сказал ей что-то, и она усмехнулась ему. Это был невзрачный человек в странном костюме с выступами и рогами, надутыми воздухом, — похожий на большую лягушку. То был Биндон, счастливый жених, выбранный для Элизабет ее отцом.

С минуту Дэнтон стоял бледный, с диким взглядом. Потом он ощутил необычайную слабость и должен был присесть у одного из столиков. Он сидел, отвернувшись от Элизабет, и не смел уже больше взглянуть на нее. Когда наконец он решился и поднял глаза, Элизабет и Биндон — и еще двое других уже вставали, чтобы уйти. Эти другие — были ее отец и компаньонка.

Так Дэнтон сидел и не мог шевельнуться, пока четыре фигуры не стали исчезать вдали. Тогда он внезапно вскочил и бросился в догонку. На одну минуту он потерял их из виду. Потом на одной из пересекавших город широких улиц с подвижными путями он снова встретил Элизабет и ее компаньонку. Биндон и Морис исчезли.

Дэнтон больше не мог сдерживаться. Он чувствовал, что должен тотчас же заговорить с нею — иначе смерть. Он протолкался вперед к тому месту, где они сидели, и сид рядом с ними. Его бледное лицо было искажено истерическим возбуждением. Он схватил Элизабет за руку.

— Элизабет, — позвал он.

Она обернулась с неподдельным изумлением. И на лице ее не отразилось никакого чувства, — только страх перед незнакомым человеком.

— Элизабет! — крикнул он еще раз и голос его прозвучал странно, как чужой. — Дорогая моя, ведь вы узнаете меня?...

На лице Элизабет отразилось только беспокойство и недоумение. Она отодвинулась в сторону. Компаньонка, маленькая седоволосая женщина с подвижным лицом — подвинулась вперед. Ее холодные глаза спокойно измерили Дэнтон с ног до головы.

— Что вы сказали? — спросила она.

— Эта молодая дама, — сказал Дэнтон, — знает меня.

— Вы знаете его, милочка?

— Нет, — сказала Элизабет странным тоном и поднесла руку ко лбу, как будто повторяя заученный урок. — Я не знаю его. Я знаю... что я не знаю его.

— Но как же это... — сказал Дэнтон растерянно. — Как же это вы меня не знаете? Ведь это я, Дэнтон. Мы с вами так много разговаривали. Вспомните летательную платформу... наше местечко вверху под открытым небом... стихи...

— Нет, — воскликнула Элизабет. — Нет, я не знаю его. Я не знаю. Есть что-то... Но я не знаю. Я знаю только то, что я не знаю его.

На лице ее было написано глубокое смутное страдание. Острые глазки компаньонки перебежали от девушки к молодому человеку.

— Видите, — сказала она с бледным подобием улыбки. — Она не знает вас.

— Я не знаю вас, — повторила Элизабет. — В этом я уверена.

— Но, дорогая, вспомните песни, стихи...

— Она вас не знает, — сказала компаньонка. — Вы, очевидно, ошиблись. Прошу вас оставить нас в покое. Нельзя же приставать на улице к незнакомым дамам...

— Однако... — возразил Дэнтон. И его бледное лицо выразило отчаянный протест против неумолимой судьбы.

— Оставьте нас, молодой человек, — нахмурилась компаньонка.

— Элизабет! — закричал Дэнтон.

На ее лице отразилась явная мука.

— Я вас не знаю, — крикнула она, поднося руку ко лбу. — О, я вас не знаю!

Дэнтон просидел с минуту, как пришибленный. Потом вскочил с места и застонал вслух.

Он поднял правую руку к далекой стеклянной крыше, висевшей над улицей, — это было городское небо, — потом повернулся и бросился прочь, быстро переходя с платформы на платформу. Через минуту он исчез в толпе.

Компаньонка следила за ним глазами, потом оглянулась на лица любопытных, которые успели собраться кругом.

— Скажите,—сказала Элизабет, хватая ее за руку. Она была так взволнована, что не обращала внимания даже на зрителей.—Кто был этот человек—кто был этот человек?

Компаньонка удивленно подняла брови. Потом сказала громко и умышленно внятно:

— Какой-нибудь сумасшедший. Мы его до сегодня ни разу не видели.

— Ни разу?

— Ни разу, милочка. Не думайте о таких пустяках.

Вскоре после этого знаменитый гипнотизер, любивший одеваться в зеленое с желтым, принимал у себя нового пациента. Это был молодой человек, бледный, растрепанный, с возбужденным лицом. Он бегал по комнате взад и вперед.

— Я хочу забыть,—повторял он,—я должен забыть!

Гипнотизер посмотрел на него спокойным взглядом, изучая его лицо, одежду, движения.

— Забыть—значит потерять, что бы то ни было,—радость или горе.—Впрочем, вам лучше знать. Придется заплатить.

— Только бы мне забыть.

— Это не трудно. Раз вы сами хотите. У меня бывали дела потруднее. Да вот еще недавно. Я даже сомневался в успехе. Дело было сделано против желания загипнотизированного лица. Тоже любовная история, как и у вас. Но только это была девушка. Могу вас уверить, что...

Молодой человек подошел и сел перед гипнотизером. Все существо его напряглось. Глаза его стали острее и спокойнее.

— Я вам скажу,—начал Дэнтон.—Вам надо, конечно, знать, в чем дело. Была такая девушка. Имя ее—Элизабет Морис.

Он остановился. В глазах у гипнотизера мелькнуло удивление. Теперь Дэнтон все понял. Он вскочил, нагнулся к сидящей фигуре и стиснул желто-зеленое плечо. С минуту он не мог найти нужных слов.

— Отдайте мне ее,—сказал он наконец,—отдайте мне ее.

— Что такое?—испуганно бормотал гипнотизер.

— Отдайте мне ее!..

— Кого ее?

— Девушку,—Элизабет Морис.

Гипнотизер попробовал вырваться. Он приподнялся со стула. Но рука Дэнтона сжалась еще крепче.

— Пустите!—крикнул гипнотизер и толкнул Дэнтона в грудь.

Они стали бороться; это были странные неуклюжие дви-

жения. Ни тот, ни другой не имели понятия о правильной борьбе: атлетический спорт уцелел только в цирках. Но Дэнтон был моложе и сильнее. Они повозились с минуту, потом гипнотизер повалился на пол и ударился головой о ножку стула. Дэнтон тоже упал. Испуганный своей победой, он тотчас же вскочил на ноги, но гипнотизер лежал все так же неподвижно. На лбу у него выступила белая шишка и из разсеченного места тянулась тонкая красная струйка.

С минуту Дэнтон стоял над ним, не зная, что делать; руки у него тряслись.

Он подумал о последствиях, и ему стало страшно. Двинулся было к двери, но тотчас же вернулся.

— Нет,—сказал он вслух и подошел к противнику. Преодолевая инстинктивное отвращение культурного человека к крови, он наклонился к лежащему и пощупал у него сердце. Потом осмотрел рану. Потом поднялся и огляделся кругом. В голове у него родился новый план.

Через несколько времени гипнотизер пришел в чувство. Голова у него болела. Спиною он опирался о колени Дэнтона, Дэнтон смачивал ему лицо водою.

Гипнотизер сперва помолчал. Потом жестом показал, что, по его мнению,—уже пора бы и перестать поливать его водою.

— Дайте я встану,—сказал он.

— Походите немного,—сказал Дэнтон.

— Вы меня ударили,—сказал гипнотизер,—вы, негодяй этакий!

— Мы одни,—возразил Дэнтон,—и дверь заперта.

Они молчали и думали.

— Если я перестану мочить,—сказал Дэнтон,—у вас на лбу вылезет такой синяк...

— Мочите, если угодно,—сказал гипнотизер угрюмо.

Опять помолчали.

— Так поступали в Каменном Веке,—сказал гипнотизер,—Борьба! Насилие!

— В Каменном Веке никто не смел становиться между мужчиной и женщиной,—возразил Дэнтон.

Гипнотизер немного подумал.

— Что собственно вам нужно?—спросил он.

— Пока вы лежали без чувств, я разыскал в ваших списках адрес девушки. Я не знал его раньше. Я телефони-ровал. Она скоро будет здесь.

— Вместе с компаньонкой?

— Это все равно.

— Что же это такое? Я не понимаю. Что вы хотите сделать?

— Я подыскал себе также и оружие. Удивительная вещь, как мало оружия теперь попадает на свете. И подумать, что в Каменном Веке люди кроме оружия ничего не имели. Я наконец нашел эту лампу, отодрал проволоки и всякие другие штуки—и вот она...

Он поднял лампу над головою гипнотизера.

— Этим я могу очень легко разбить вам череп. И я разобью, если вы не сделаете того, что я вам скажу.

— Насилием ничего не излечишь,—ответил гипнотизер цитатой из „Новейшей книги афоризмов о морали“.

— Ну, тут уж болезнь, от которой я во что бы то ни стало хочу избавиться.

— Ну?

— Вы скажете компаньонке, что вы собираетесь внушить девушке согласие на брак с этой рогатою тварью, знаете, рыжий такой, а глаза—как у хорька. Об этом, должно быть, уже говорилось?

— Да, говорилось.

— Ну вот. И под этим предлогом, вы ей вернете память обо мне.

— Это не соответствует профессиональной этике.

— А я вам вот что скажу: я и жизни не пожалею, чтобы не потерять этой девушки, я готов на все. Мне нет никакого дела до ваших соответствий. Если не выйдет по-моему, вам не прожить и минуты. Оружие это плохое, и вам, должно быть, достанется смерть не без боли. Но я все-таки убью вас. Теперь, я знаю, убивать не принято,—главным образом потому, что не из-за чего убивать.

— Компаньонка увидит вас.

— Я спрячусь в этом углу, за вашей спиной.

Гипнотизер подумал.

— Вижу—вы юноша решительный,—сказал он,—и к тому же—полудикарь. Я старался исполнить свой профессиональный долг по отношению к клиенту. Но если вы решились принудить меня...

— Не вздумайте лукавить...

— Я не стану рисковать головой из-за такого пустячного дела.

— А потом?

— Гипнотизеры и врачи не любят скандалов. Вам нечего бояться нескромности. Я ведь не дикарь. И мне все это надоело. И вдобавок, через день-другой я уже прощу вам...

— Спасибо. Теперь, когда мы обо всем сговорились, вам нет надобности дольше лежать на полу.

II

ЗА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТОЙ

За сто лет с 1800 по 1900 год—мир изменился значительно больше, чем за предыдущие пять веков. Этот век—девятнадцатый век—был новой эпохой в истории человечества,—эпохой, когда выступили на сцену большие города и кончился старый строй тихой сельской жизни.

В начале девятнадцатого века большая часть людей еще вела сельский образ жизни, как было унаследовано от отцов и от дедов. Они обитали в маленьких городках, в селах и занимались земледелием или несложными ремеслами, непосредственно связанными с сельским хозяйством земледельцев. Они мало путешествовали и редко удалялись от места своей работы, ибо средства сообщения были тогда еще медленны и плохи. Путешествовать приходилось пешком или на грубых судах под жалкими парусами, или наконец, на лошадях, и самая большая скорость была шестьдесят миль в день. Подумайте только—шестьдесят миль в день!

Там и сям в эту ленивую эпоху какой-нибудь город—например, столица или гавань, развивался, становился немногим больше соседних городов. Но все-таки можно было пересчитать по пальцам все города с населением более 100.000 человек.

Так было еще в самом начале девятнадцатого века.

За сто лет развитие железных дорог, телеграфов, паровых судов и сложных машин изменило этот порядок вещей до полной неузнаваемости. В больших городах как-то внезапно возникли огромные магазины, пестрые приманки, разнообразные удобства—и все это сразу оттеснило сельскую жизнь на задний план. С развитием машин спрос на рабочие руки уменьшился, местные рынки переполнились предложением труда. Человечество стало отливать в крупные центры; большие города быстро росли за счет деревни.

Многие писатели времен королевы Виктории упоминают об этом притоке людей в города. Они отмечают повсюду, в Англии и в Америке, в Китае и в Индии, одно и то же явление,—огромный рост немногих городских центров—и опустение сел.

Но редкие из них понимали полную неизбежность этого явления и ясно видели, что при новых путях сообщения иначе и не может быть. И вот самые смешные, ребяческие средства пускались в ход для того, чтобы одолеть таинствен-

ный магнетизм больших городов и удержать население на старых местах.

Однако, все перемены девятнадцатого века были только началом нового порядка вещей. Первые большие города нового времени отличались большими неудобствами, они были тесны и черны от дыма и полны заразы. Введение новых способов постройки и отопления уничтожило эти неудобства.

В двадцатом веке ход изменений был еще быстрее, чем в девятнадцатом. И в двадцать первом — стремительный рост людских изобретений совершенно затмил тихое, идиллическое время Виктории.

На первом плане нужно поставить новые пути сообщения, которые совершенно перевернули всю человеческую жизнь.

Первым шагом — были железные дороги. Но к 2000-му году они совершенно вышли из употребления. Линии дорог со снятыми рельсами — представляли собою теперь только бесполезные насыпи и длинные рвы. Старые мощенные дороги, варварски уложенные щебнем, грубо утрамбованные ручным молотом или неуклюжим катком, полные разного сора, избитые конскими копытами и колесами телег, уступили место гладким путям, с настилкой из особого вещества, названного Идамитом по имени изобретателя. В истории человечества Идамит занимает место рядом с книгопечатанием и паром. Каждое из этих трех нововведений послужило началом особой эпохи.

Когда Идам сделал свое изобретение, он, повидимому, думал только о том, чтобы найти дешевый суррогат каучука; его состав стоил несколько шиллингов за тонну. Но результатов изобретения нельзя никогда предвидеть заранее. Гений другого человека, по имени Уорминг, указал на возможность использовать этот материал не только для колесных шин, но также и для настилки дорог. Уорминг именно и организовал огромную сеть идамитовых путей, которая затем очень скоро захватила весь земной шар.

Эти пути разделялись продольно на несколько полос. Две крайние полосы слева и справа были назначены для велосипедистов и для всех других экипажей со скоростью не больше 25 миль в час. Две следующие полосы назначались для скоростей до ста миль в час. Среднюю полосу Уорминг, несмотря на все насмешки критиков, оставил для проезда экипажей со скоростью больше ста миль в час.

В первые десять лет этой средней полосой не пользовались. Но еще при жизни Уорминга она наполнилась вереницей экипажей большой скорости. Это были экипажи очень лег-

кой постройки; колеса у них были огромные — диаметром в двадцать—тридцать футов, и скорость их с каждым годом все более приближалась к двумстам миль в час.

Одновременно с этим произошла и другая революция, не менее важная для жизни городов. Электрическое отопление вытеснило все другие способы. Уже с 2013 года под страхом наказания запрещалось разводить огонь, который не давал бы полного сгорания дыма. Потом все улицы и перекрестки и площади Лондона были покрыты крышей из новоизобретенного стекловидного вещества. Над всем Лондоном была теперь сплошная кровля.

Отменили устарелое запрещение строить дома выше определенной нормы. И Лондон, из плоского моря мелких домов архаического вида, принял цивилизованный вид и поднялся к небу. Городское управление, кроме обычных забот о водоснабжении, освещении и канализации, приняло на себя еще одну задачу, — вентиляцию.

Слишком долго было бы описывать все изменения общественных и материальных условий за эти двести лет; появились летательные машины; частное хозяйство заменили огромные гостиницы; земледельцы переселились в города и оттуда стали выезжать ежедневно на работу; деревни совершенно опустели, но за то до огромных пределов расширились немногие уцелевшие города, — во всей Англии осталось четыре города, каждый с населением больше десяти миллионов. Вместо того, чтобы описывать все это, мы должны вернуться к истории Дэнтона и его Элизабет. Они опять были вместе, но все не могли вступить в брак — у Дэнтона не было денег. Элизабет по обычаю могла получить наследство своей матери только тогда, когда ей исполнится 21 год. Но ведь теперь Элизабет было только еще восемнадцать. Она не знала, что можно было учесть свои надежды на наличные деньги, а у Дэнтона не хватало духу, чтоб намекнуть ей об этом. Таким образом их союз не мог осуществиться. Элизабет говорила, что она очень страдает и что только Дэнтон понимает ее горе и что без него — она совершенно несчастна. Дэнтон повторял, что сердце его стремится к ней и днем и ночью. Они думали только о том, чтобы встречаться как можно чаще для разговоров об общем горе.

Однажды они встретились на своем обычном месте — на станции аэропланов. Место это было там, где во времена Виктории Уимблдонская Дорога выходила в поля. Но только теперь дело происходило на 800 футов над землей. Отсюда открывался обширный вид на весь Лондон. Но трудно было бы описать это зрелище древнему жителю Лондона 19-го века.

Пришлось бы ему напомнить о Хрустальном Дворце, о больших новых отелях его эпохи (в сущности говоря, это были довольно скромные постройки, хотя они и назывались „слонообразными“), о главных железнодорожных вокзалах. Но только теперь в Лондоне здания были куда обширнее и кровли их сливались по всем направлениям в одно целое. И над этой непрерывной кровлей вставали целые леса вечно вращающихся турбин. Однако, даже из всех этих описаний лондонец 19-го века мог бы получить разве самое смутное представление о том, что для нашей четы было обыденным зрелищем.

В этот день их глазам Лондон казался тюремной оградой, и оба говорили о том, как было бы хорошо уйти отсюда и быть вместе,—быть вместе раньше, чем минут условленные три года. Ждать три года—им казалось невозможным и даже преступным.

— До тех пор,—сказал Дэнтон,—мы можем оба умереть.— Впрочем, судя по голосу Дэнтона—у него были великолепные, здоровые легкие...

Их руки сплелись крепче, и Элизабет пришла новая мысль еще ужаснее первой. Даже слезы навернулись на ее блестящие глаза и заструились по румяным щекам.

— До тех пор один из нас—может...

У нее не хватило силы вымолвить страшное слово. Однако, в условиях жизни теперешнего времени жениться, не имея средств, было бы слишком ужасно, по крайней мере, для тех, кто раньше привык наслаждаться комфортом. В прежнее, сельское время, которое окончилось вместе с 18-м веком, была хорошая пословица: „с милым рай и в шалаше“. И действительно: в то время самые последние бедняки имели возможность жить в хижинах, увитых цветами—окна на зеленое поле, над головой—небо, а в кустах у самой стены распевают птицы. Но все это давно уже прошло, и люди бедные могли теперь жить только в нижних частях огромного города, а это было уже совсем другое.

Даже в девятнадцатом веке нижние кварталы городов еще выходили под открытое небо. Они занимали участки с глинистой почвой, пески или болота, и были широко открыты дыму соседних фабрик, доступны наводнению, и плохо снабжены водою. В этих кварталах гнездились болезни,—по-скольку ближайшим богатым соседям не грозила опасность заразиться.

Но в двадцатом веке рост города вверх, ярус над ярусом, и непрерывность построек—скоро привели к иному размещению. Зажиточные классы обитали в роскошных

гостиницах, в чертогах, поближе к кровле. Рабочее население гнездилось внизу у самой земли, так сказать—в подвальном этаже.

Здесь образ жизни и даже манеры людей мало отличались от их предков, бедняков из Ист-Энда времен королевы Виктории. Только теперь они уже выработали свое особое наречие. Они жили и умирали внизу; они редко поднимались наверх, если только того не требовали самые условия работы. В таких условиях они рождались и потому переносили эту жизнь без особого ропота. Но для людей из высшего класса, таких, как Дэнтон и Элизабет, жизнь внизу казалась ужаснее самой смерти.

— Что нам делать?—спросила Элизабет.

— Не знаю,—сказал Дэнтон. Он не мог решиться наекнуть ей о наследстве и не был уверен, что Элизабет сочувственно отнесется к идее взять денег взаймы.

— Если уехать в Париж,—сказала Элизабет,—так денег не хватит даже заплатить за проезд. Да и в Париже жить без средств не легче, чем в Лондоне.

— О если бы мы жили в прежнее время,—пылко воскликнул Дэнтон.

Их воображению даже бедные кварталы Лондона в девятнадцатом веке представлялись в романтическом свете.

— Неужто нет никакого выхода?—сказала Элизабет уже со слезами.—Неужели ждать эти долгие три года? Три года... Подумать: тридцать шесть месяцев...

Терпение человечества не выросло за эти века. Теперь Дэнтон заговорил о том, что уже неоднократно мелькало в его уме. Мысль эта казалась ему до такой степени дикой, что раньше он не хотел относиться к ней серьезно. Но теперь он перевел ее в слова, и она как будто стала более приемлемой.

— Мы могли бы уйти в поле,—сказал он.

— В поле?

Элизабет взглянула ему в лицо,—не шутит ли он?

— Ну, да, в поле. За те вон холмы...

— Но как жить там?—сказала она.—Где жить?

— Что же?—сказал он.—Люди жили в деревнях.

— У них были дома.

— Там и теперь есть развалины домов и городов. На пашнях они исчезли, но на пастбищах—еще остались. Пшечная Компания не хочет тратить на их разборку. Я это знаю наверное. И даже, когда пролетаешь мимо на аэроплане, эти развалины сверху видны совершенно отчетливо. Мы могли бы привести такой дом в порядок собственными

руками и поселиться там. Знаешь, это вовсе не так невозможно. Люди приезжают каждый день — смотреть за стадами, работать на полях. Мы могли бы уговориться с кем-нибудь насчет доставки пищи.

Она нерешительно помолчала.

— Как странно, — сказала она наконец.

— Что странно?

— Странно так жить. Никто так не живет.

— Ну, так что же?

— Так жить было бы странно и очень романтично. Но можно ли так жить?

— Отчего же нельзя?

— Столько вещей пришлось бы оставить, — сказала она, — самых необходимых.

— Пускай, — возразил он. — Из-за этих вещей вся наша жизнь стала совсем искусственной.

Дэнтон стал подробно излагать свой план, и каждое новое слово делало этот план как будто более осуществимым.

Элизабет задумалась.

— Там, говорят, есть бродяги — беглые преступники.

Дэнтон кивнул головой. Он колебался, не зная как ответить, и опасаясь, что его слова покажутся ребячеством.

— У меня есть один знакомый, — сказал он наконец и даже покраснел. — Он мог бы мне выковать меч.

Элизабет посмотрела на него и глаза ее зажглись. Она слышала о мечах, видела один в Музее. И теперь она подумала о тех минувших днях, когда мужчина не расставался с мечом.

Идея Дэнтона казалась ей неосуществимой мечтой, но, быть может, именно поэтому ей жадно хотелось узнать об этом побольше. И Дэнтон начал рассказывать, все больше воодушевляясь и на лету придумывая новые подробности. Он описывал, как они стали бы жить на воле — точь в точь, как жили древние люди. И с каждой новой подробностью у Элизабет все больше выросал интерес к тому, что говорил Дэнтон. Она была из тех девушек, которых привлекает романтизм всего необычайного.

В этот день идеи Дэнтона казались ей неосуществимыми, но на завтра они заговорили об этом снова, и все стало как будто легче и ближе.

— Мы возьмем с собой пищи на первое время, — говорил Дэнтон, — дней на десять или на двенадцать.

В то время пища приготавливалась в виде прессованных плиток, и такой запас пищи не был обременительным грузом.

— А где мы будем спать, — спросила Элизабет, — пока наш дом еще не будет готов?

— Теперь лето.

— Однако... А дом все-таки будет?

— Было время, когда на всем свете нигде не было домов и люди спали всегда на открытом воздухе.

— Но как же мы? Ничего нет. Ни стен, ни потолка.

— Милая, — сказал он, — в Лондоне есть много потолков и величественных сводов. Они искусно раскрашены и усеяны яркими огнями. Но я знаю один свод еще красивее и выше.

— Где же?

— Под этим сводом мы с тобой будем одни.

— Ты говоришь...

— Дорогая, — сказал он снова, — об этом своде люди забыли... Это — небо, усеянное звездами.

Каждый раз, как они заговаривали об этом снова, проект Дэнтон казался им ближе и желаннее. Через неделю в этом проекте они уже не видели никаких трудностей, а еще через неделю он стал вещью совершенно неизбежной. Днем и ночью они мечтали о тихой деревне. Городской шум и суета казались им невыносимыми. И они удивлялись, почему эта прекрасная мысль не явилась им раньше.

В одно утро — это было уже в середине лета, Дэнтон уступил свое место новому служащему и сошел с летательной платформы, чтобы уже не возвращаться назад.

Молодые люди тайно обвенчались и мужественно покинули город, в котором они и их предки жили до этого дня. На Элизабет было новое белое платье, сшитое по древним образцам. Дэнтон нес на спине дорожную сумку с провизией, а в правой руке держал, — не очень уверенно, правда, и слегка прикрывая полою пурпурного плаща, — держал этакую старинную длинную штуку из кованной стали с крестообразной ручкой.

С первых шагов картина перед ними совсем изменилась.

В те времена грязные предместья эпохи Виктории с их скверными дорогами, маленькими домишками, нелепыми палисадниками из двух кустов и герани, — в те времена вся эта дешевая мещанская семейственность исчезла без следа. Огромные строения нового века, сложные пути, электрические провода — все кончалось сразу, как колодец, как обрыв на четырехста футов над уровнем земли, — обрыв крутой и отвесный. Кругом города простирались поля Пищевой Компании с бесконечными грядками моркови и брюквы, — эти овощи во множестве перерабатывались на фабриках готовой пищи. Сорные травы и случайные кусты совершенно исчезли: Пищевая Компания вместо того, чтобы каждое лето полоть

свои гряды, предпочла одновременно произвести крупную затрату на полную очистку всех ненужных растений. Там и сям шпалеры ягодных питомников и стройные ряды яблонь, с выбеленными известкой стволами, пересекали поля; местами группы огромных ворсянок поднимали вверх свою характерную щетину. Сельско-хозяйственные машины важно стояли в своих непромокаемых чехлах. Воды прежних речек—Уэй, Мол и Уандл—сливаясь, текли по прямоугольным каналам, и, где только позволял наклон почвы, бил фонтан удобрительного раствора, переливаясь радугой на солнце и во все стороны разливая свои благодетельные туки.

Сквозь широкую арку в огромной городской стене выходила выстланная идамитом дорога на Портсмут, даже и в этот ранний утренний час переполненная экипажами разного рода. Это были синие блузники, слуги Пищевой Компании, которые спешили в поля на работу. По наружным полосам дороги жужжали моторы помельче, старинной конструкции: они отправлялись не очень далеко, миль за пятнадцать-двадцать. По внутренним путям бежали более крупные моторы. Быстрые об одном колесе несли на себе десятка полтора людей; длинные многоколесные—летели вдогонку; чetyрехколесные катили, доверху наполненные грузом; гигантские телеги мчались порожнем с тем, чтобы перед закатом вернуться с зерном и овощами; стучали машины, чуть шуршали бесшумные колеса; гудел буйный оркестр звонков, свистков и сирен. И по самому краю внешней полосы шли новобрачные, молча, с смущенным видом. На них сыпались шутки сверху—с проезжавших колесниц: в 2100 году пешеход на английских дорогах представлял такое же редкое зрелище, какое мог бы представить автомобиль в 1800 г. Но Элизабет и Дэнтон шли вперед, глядя в сторону и не отзываясь на оклики.

На юге показались холмы в голубой дымке; чем ближе—тем холмы эти становились все зеленее. Вершины их были увенчаны цепью огромных турбин, еще более мощных, чем те, которые стояли на кровле города, и взад и вперед мелькали длинные утренние тени этих высоких бегущих колес. В полдень Элизабет и Дэнтон подошли так близко, что могли уже различать полоски мелких пятен. Это были овцы из стада Мясного Отдела Пищевой Компании. Еще через час миновали последние гряды. Изгородь тоже окончилась, гладкая дорога и все мчавшиеся по ней экипажи—все это свернуло в сторону. Перед путниками было наконец открытое поле. Они сошли с тропы, пошли по зеленому дерну и стали подниматься вверх по косогору.

Еще ни разу в жизни эти дети нового города не были в таком уединенном месте. Оба они ощущали усталость и голод,—ходить пешком им приходилось не часто,—и почти тотчас же уселись на выкошенном лугу. Потом они оглянулись на город, откуда вышли. Сквозь легкую дымку, вставшую с Темзы—город просвечивал—огромный, прекрасный. Элизабет с некоторым страхом смотрела на овец, бродивших по пригорку, немного повыше. Она впервые видела крупных животных на воле и так близко. Но Дэнтон успокоил ее; и над ними сверху белокрылая птица парила в синеве.

Прежде всего—позавтракали, и тогда языки у них развязались. Дэнтон стал говорить о предстоящем счастье, о том, что было безумно так долго томиться в пышной темнице городской жизни, о той романтической прелести, которая исчезла из мира навеки. Скоро он расхвастался, завел речь о храбрости и даже поднял меч, который лежал рядом на земле. Элизабет взяла меч у него из рук и слегка провела пальцем по лезвию.

— И ты мог бы,—сказала она неуверенным голосом,—вот этим мечом ударить человека?

— Что ж, если нужно...

— Это ужасно,—сказала она.—Была бы такая рана... И кровь...—добавила она окончательно упавшим голосом.

— Но разве ты не читала в старинных романах...

— Ах, нет,—возразила она,—это совсем другое дело. И в живых картинах тоже—это не кровь, только красная краска... Все это знают. Но неужели ты мог бы убить человека—ты?

Она посмотрела на него нерешительным взглядом, потом отдала ему меч.

Поев и отдохнувши, они стали и отправились дальше. Скоро они подошли вплотную к огромному стаду овец; овцы во все глаза глядели на путешественников и блеяли от изумления. Элизабет никогда не видела овец, и ей прямо подумать было страшно, что этих нежных созданий можно убивать и есть. Овчарка залаяла вдали; тотчас же пастух показался между подпорами турбин и подошел ближе. Пастух прежде всего спросил путников, куда они идут.

Дэнтон замаялся и коротко сказал, что они ищут тут какой-нибудь старый дом, в котором они могли бы поселиться. Он старался говорить небрежно и уверенно, как будто это была самая обыкновенная вещь. Но пастух покачал головой.

— Вы что-нибудь настряпали?—задал он вопрос.

— Ничего мы не настряпали,—возразил Дэнтон.—Только

мы не хотим больше жить в городе. Зачем это нужно — вечно жить в городах?

Пастух еще более недоверчиво покачал головой.

— Как вам жить здесь? — сказал он.

— Мы увидим.

Пастух посмотрел сперва на Дэнтон, потом на Элизабет.

— Вы завтра же уйдете, — сказал он с тем же упорством. — Днем-то оно недурно, как солнце светит... Что, это правда, что вы ничего не настряпали? Знаете, мы, пастухи, с полицией не в очень большой дружбе.

Дэнтон посмотрел на него и пожал плечами.

— Я вам говорю: ничего, — повторил он, — но только мы слишком бедны, чтоб жить в городе. А носить синюю блузу и работать из-под указки — у нас охоты нет. Мы попробуем жить здесь скромной жизнью, как жили прежние люди.

Лицо у пастуха все обросло бородой, глаза у него были вдумчивые. Он посмотрел на Элизабет испытующим взглядом.

— У прежних людей были скромные вкусы, — сказал он.

— У нас тоже, — сказал Дэнтон.

Пастух усмехнулся.

— Ступайте этой дорогой, — сказал он, — вдоль самых турбин. С правой стороны вы увидите груды развалин. Там прежде был город, называвшийся Эпсом. В нем уже не осталось домов и даже кирпичи пошли на постройку овечьих загонов. Идите дальше и увидите другую груды развалин на самом краю огоронов. Это Лезергэд. Тут холмы поворачивают к западу и уже попадают буковые леса. Вы все идите дальше по самому верху. Придете в дикую глушь; тут кое-где, несмотря на все хлопоты, еще растут колокольчики и папоротник, и всякие другие негодные травы. По всему этому месту под самыми турбинами проходит прямая дорога, мощенная камнем. Это, говорят, еще Римская дорога — ее построили за две тысячи лет до нашего времени. Оттуда свернете вправо и спуститесь в долину. Там найдете реку, идите вдоль берега — и скоро вам повстречается длинный ряд домов. У многих еще и крыши целые. Там вы найдете себе приют.

Они поблагодарили.

— Но только там невесело. По ночам освещения нет; что-то слышно насчет грабителей. Уныло там. Ничего нету: ни кинематографов, ни говорильных машин. Купить что — лавок нет; заболел — доктора нет...

— Мы попробуем, — сказал Дэнтон и повернулся — итти дальше. Но тут внезапно пришла ему в голову блестящая

мысль, и он уговорился с пастухом насчет будущего: пастух согласился покупать и привозить для них из города все, что понадобится.

К вечеру добрались до заброшенного селения. Селение это показалось им таким маленьким и странным. Дома сияли золотом в блеске заката, все было тихо и пустынно. Они переходили от одного дома к другому, дивились древней простоте и игрушечным размерам домов и не знали, который выбрать. Наконец, в одной комнате, залитой солнцем, сквозь развалившуюся стену, они увидели цветок, маленький голубой цветок, пропущенный острыми серпами Пищевой Компании.

В этом доме и решили поселиться. Впрочем, в эту ночь они оставались в доме недолго: им хотелось быть ближе к природе. И кроме того, после заката внутри дома стало так темно и призрачно. Поэтому, отдохнув немного, они вышли и вернулись на холм, чтоб посмотреть собственными глазами на звездное небо, о котором так много поют старинные поэты. Это было поразительное зрелище, и Дэнтон был красноречив, как звезды. Вниз, к селению, вернулись, когда рассвет уже забрезжил в небесах. Спали мало; утром проснулись и услышали, — черный дрозд пел на дереве под окном.

Так начала свое изгнание эта юная чета 22-го века. В первое утро они стали исследовать всю обстановку и ресурсы своего нового жилища. Они не очень торопились и не разлучались ни на минуту, но все же отыскивали кое-какие вещи. Недалеко от селения были сложены запасы зимнего корма для овец Компании. Дэнтон принес несколько охапок сена — из сена сделали себе постели. В разных домах нашлись старые стулья и столы, источенные червями. Вся эта мебель была из дерева и показалась им очень примитивной и грубой. В этот день разговоры у них были все такие же восторженные. К вечеру нашли новый цветок, — одуванчик. После полудня мимо проехал экипаж с пастухами Компании. Но Элизабет и Дэнтон спрятались от них, чтобы ничто не нарушило романтического уединения этого уголка из старого мира.

Так они прожили неделю. И всю эту неделю дни были ясны и ночи звездны, и каждую ночь прибывающая луна выходила на тихое небо.

И все же первые красочные впечатления уже поблекли и неудержимо бледнели с каждым днем. Красноречие Дэнтон иссякло, не хватало тем для разговора; от непривычной ходьбы по длинной дороге из Лондона в теле осталась глухая усталость, и оба страдали от легкой простуды. Притом же Дэнтон не знал, куда девать свое время. В одном углу,

в беспорядочной куче старого хлама он нашел ржавую лопату и попробовал вскопать ею задний двор, заросший травой, хотя нечего было сажать или сеять. Но через полчаса он вернулся к Элизабет весь в поту, задыхаясь от усталости.

— Они, должно быть, были прямо гиганты, эти старинные люди,—сказал он жене, не принимая в расчет значение привычки и упражнения.

В этот день пошли на прогулку в сторону Лондона и шли до тех пор, пока не увидели мерцавший вдали город.

— Что-то там делается?—сказал Дэнтон задумчиво.

Затем погода испортилась.

— Пойдем, поглядим на тучи,—позвала Элизабет.

Тучи надвигались с востока и с севера, они были черные, с пурпурными краями и уже стояли над головой. Пока молодые люди взбирались на холм, лохмотья быстрых туч закрыли закат. Вдруг налетел ветер, покачнул темные буки: Элизабет стало холодно. Потом на горизонте блеснула молния как внезапно обнаженный меч; вдали гром прокатился по небу. И пока они изумленно смотрели вверх—упали первые капли дождя. Еще через минуту последний солнечный луч исчез под завесой града, молния снова блеснула, гулко прокатился гром и весь мир кругом, потемнел и нахмурился.

Схватившись за руки, эти питомцы города, страшно пораженные невиданным явлением, побежали с холма вниз. Но прежде чем они добежали домой, Элизабет заплакала от страха; черная земля побелела, кругом прыгал град.

Тогда началась для них странная и ужасная ночь. В первый раз за всю свою жизнь они были в потемках. Было мокро и холодно. Град барабанил по крыше; сквозь ветхие потолки заброшенного дома струились потоки воды и оставляли на полу озера и ручьи. Буря с размаху ударяла в покинутый дом, дом скрипел и трясся, порою с крыши скатывалась оторванная черепица и с грохотом падала вниз в пустую оранжерею у задней стены. Элизабет молчала и дрожала от холода.

Дэнтон накинул ей на плечи свой модный плащ, пестрый и тонкий, и они сидели рядом в темноте. Гром грохотал все ближе и оглушительнее, молния сверкала, озаряя мгновенным блеском мокрые стены комнаты.

До сих пор им случалось бывать на открытом воздухе только в ясную, солнечную погоду. Они проводили все свое время в сухих и теплых проходах и залах огромного города. В эту ночь им казалось будто они попали в какой-то другой мир, в какой-то буйный и бесформенный хаос, и они вспоминали о городе, как о чем-то далеком и светлом, почти невозвратном.

Дождь лил без конца, и гром гремел; наконец они задремали в промежутке между раскатами—и тут почти внезапно все прекратилось. Потом последний порыв стихающего ветра донес до них какие-то незнакомые звуки.

— Что это?—воскликнула Элизабет.

Звуки повторились. Это был собачий лай. Он прозвучал в глухом переулке под самым окном и покатился дальше. Сквозь окно падал на стену бледный луч луны, и в белом квадрате четко рисовались оконные перекладины и ветви стоявшего неподалеку дерева.

Через несколько времени, с первым отблеском туманного рассвета, вернулся собачий лай, прозвучал и оборвался. Они вслушались. И почти тотчас же услышали за стеной—быстрый и легкий топот, короткое тявканье. И опять все стихло.

— Тс!—сказала Элизабет и указала рукою на дверь.

Дэнтон шагнул к двери и остановился, прислушиваясь. Затем повернулся опять к своей подруге.

— Это, должно быть, овчарки Компании,—сказал он с умышленной небрежностью.—Они нас не тронут.

Он сел рядом с Элизабет.

— Ну и буря была!—сказал он, чтоб скрыть свое все растущее беспокойство.

— Я не люблю собак,—сказала Элизабет после долгого промежутка.

— Собаки никого не трогают,—возразил Дэнтон.—В прежние годы, в девятнадцатом веке, почти у всякого была собственная собака.

— Я читала историю,—сказала Элизабет,—как одна собака загрызла человека.

— Ну, это была не такая собака,—возразил Дэнтон.—Знаешь, в таких рассказах не все ведь правда.

Неожиданно снова раздался лай и топот собачьих лап на лестнице. Дэнтон вскочил с места, быстро разрыв сено постели и вытащил меч. В дверях показалась овчарка и остановилась на пороге. За нею была другая. С минуту человек и зверь молча смотрели друг другу в глаза.

Потом Дэнтон нахмурился и сделал шаг вперед.

— Пошла!—крикнул он и неуклюже взмахнул мечом.

Собака заворчала. Дэнтон остановился.

— Песик, песик!—попробовал он ласку.

Собака залаяла.

— Песик!—повторил Дэнтон. Вторая овчарка тоже залаяла. На лестнице отозвалась третья. Другие на дворе подхватили и залились. Дэнтону показалось, что их очень много.

— Это уж хуже,—сказал Дэнтон, не отрывая глаз от переднего пса.— Дело в том, что пастухи не приходят так рано. Эти собаки не могут понять, откуда мы взялись.

— Я ничего не слышу,—крикнула Элизабет. Она подошла и встала рядом с Дэнтоном.

Дэнтон повторил свои слова, но собачий лай заглушал его голос. Эти звуки раздражали его. Они зажигали в нем кровь, будили в его груди странные чувства. Он крикнул еще раз, и лицо его исказилось. Собачий лай как будто передразнивал его. Одна овчарка оскалила зубы и ступила вперед. И вдруг Дэнтон повернулся, крикнул ругательство на языке лондонских подвальных этажей, к счастью, непонятное для Элизабет—и бросился на собак. Лай оборвался, собака зарычала, захрипела. Элизабет увидела голову передней овчарки, прижатые уши, оскаленные зубы. Сталь блеснула в воздухе. Собака подпрыгнула и отскочила назад. Дэнтон с криком погнался за собаками. Он размахивал мечом с неожиданной силой и гнался за ними по лестнице вниз. Элизабет пробежала шесть ступеней—и увидела: внизу около лестницы земля была залита кровью. Элизабет побежала за ним, но на площадке остановилась, услышав на улице шум, возню и крики Дэнтона, и подбежала к окну.

Овчарки рассыпались в разные стороны. Их было девять штук. Одна корчилась на земле перед самой дверью; Дэнтон с криком бросался на собак,—им овладела горячка, которая дремлет в крови самых цивилизованных людей. Потом Элизабет увидела нечто, чего Дэнтон еще не замечал в пылу борьбы. Собаки стали заходить справа и слева. Они собирались напасть на Дэнтона сзади.

Элизабет поняла опасность и хотела крикнуть. Секунду или две она простояла с замирающим сердцем, потом, повинаясь непонятному импульсу, подобрала свои белые юбки и бросилась вниз. В сенях стояла ржавая лопата. Элизабет схватила ее и выскочила наружу.

Она явилась на помощь Дэнтону как раз во-время. Одна собака уже валялась на земле, почти перерезанная пополам, но другая схватила его за ногу, третья набросилась на него сзади и рвала с него плащ, четвертая грызла зубами меч, и морда у нее была вся в крови. Пятая тоже собиралась кинуться, и Дэнтон подставил ей навстречу левую руку.

Элизабет бросилась вперед с дикой отвагой, как будто это был второй век, а не двадцать второй. Вся ее мягкость и городская изнеженность мигом исчезли. Лопата опустилась и расколола собачий череп. Другая собака, вместо того, чтобы прыгнуть, испуганно взвизгнула и бросилась в сторону.

Две драгоценных секунды собачьего времени бесплодно ушли на возню с оборкою женского платья.

Дэнтон отшатнулся назад. Плащ его оборвался и свалился вместе с собакой. И эта собака попала под лопату и вышла из строя. Он ткнул мечом ту, которая кусала его за ногу.

— К стене!—крикнула Элизабет.

Через несколько секунд бой был окончен; молодые люди стояли рядом, а уцелевшие собаки, поджав хвосты, постыдно убегали прочь. С минуту победители простояли так, тяжело дыша, потом Элизабет уронила лопату и расплакалась навзрыд, даже на землю опустилась. Дэнтон оглянулся вокруг, воткнул меч острием в землю так, чтобы он был тут под рукой, и стал утешать жену.

Постепенно они успокоились и могли говорить. Элизабет стояла, прислонившись к стене, Дэнтон сидел перед ней, следя глазами за движением собак: две собаки еще остались и продолжали лаять издали, с холма.

У Элизабет все лицо было в слезах, но на душе у нее становилось легче: Дэнтон все повторял ей, что это именно ее храбрость спасла ему жизнь. Но вдруг мысль о новой опасности мелькнула в ее уме.

— Это собаки Компании,—сказала она.—Выйдет история.

— Я тоже боюсь,—подтвердил Дэнтон.—Они могут искать с нас убытки.

Пауза.

— В прежние годы,—снова заговорил Дэнтон,—такие вещи случались каждый день.

— Я бы не вынесла этого еще раз,—сказала Элизабет. Дэнтон поглядел на нее. Ее лицо осунулось и побледнело от бессонницы. Он быстро решил.

— Надо вернуться,—сказал он.

Элизабет посмотрела на мертвых собак и вздрогнула от страха.

— Здесь нельзя оставаться,—сказала она.

— Надо вернуться,—повторил снова Дэнтон, все время через плечо оглядываясь на собак.—Мы провели здесь несколько счастливых дней. Но мир слишком изменился. Мы принадлежим к городской эпохе. Здесь жизнь нам не под силу.

— Но что же нам делать? Как жить нам в городе?

Дэнтон колебался. Он постучал ногою в стену, на которой сидел.

— Есть одна вещь, о которой я не решался говорить, но...

— Ну?

— Можно бы занять денег под твое наследство.

— Правда?—спросила она стремительно.

— Конечно, правда. Какой же ты ребенок...

Элизабет встала, и лицо у нее просветлело.

— Зачем ты не сказал мне этого раньше? — упрекнула она. — Столько времени мы просидели здесь.

Дэнтон посмотрел на нее, усмехнулся. И тотчас же улыбка его исчезла.

— Мне было неловко разговаривать о деньгах, — сказал он. — Я думал, ты знаешь сама. И потом жизнь здесь мне представлялась такой прекрасной.

Оба замолчали.

— Три дня были хорошие, — заговорил он снова, — три первые дня.

— Да, — согласилась Элизабет, — три первые дня, — и она взглянула на собак, — пока не началось все это.

Поглядели друг другу в лицо; потом Дэнтон слез со стены и взял Элизабет за руку.

— Каждое поколение, — заговорил он, — живет по своему. Теперь я это понимаю яснее. Мы родились для жизни в городе. Все другое — не для нас. Эти дни были, как сон, — а теперь пробуждение.

— Прекрасный сон, — вздохнула Элизабет, — эти первые дни...

Они долго молчали.

— Надо торопиться, — сказал Дэнтон, — не то пастухи нас застанут. Мы захватим свои запасы и поедем в дороге.

Дэнтон поглядел на дорогу, и, далеко обходя убитых собак, они перешли через двор и вошли в дом. Забрав свою сумку с едой, они спустились назад по залитым кровью ступеням. Пред выходом Элизабет остановилась.

— Минутку, — сказала она, — Я только посмотрю.

— Постой, — сказала Элизабет. — Надо еще попрощаться.

Она пришла в комнату, где между камней рос голубой цветок. Наклонилась и погладила лепестки.

— Сорвать его? — сказала она. — Нет, не могу...

И, отдаваясь какому-то порыву, она наклонилась еще ниже и поцеловала голубые лепестки. Потом молча, рядом перешли они через двор, вышли на дорогу и с решительными лицами направились обратно к далекому городу, к тому сложному и шумному машинному городу новой эпохи, который проглотил деревню и все человечество.

III

ЗАКОНЫ ГОРОДА

Среди величайших изобретений, изменивших историю мира, видное, если не главное место, занимают те усовершенствования в области транспорта, которые начались железными дорогами и через столетие слишком окончились мотором большой скорости и патентованной новейшей мостовой. Это изменение способов передвижения вместе с ростом акционерных компаний ограниченной ответственности и вместе с заменой сельских рабочих новыми усовершенствованными машинами и искусными механиками, привели человечество к тому, что оно сосредоточилось в небывало разросшихся городах, а также произвели революцию во всей человеческой жизни; неизбежность такого результата теперь была до того очевидной, что можно было только удивляться как это никто не предвидел всего этого заранее. И вот все-таки никто не настаивал, чтоб были своевременно приняты какие-нибудь меры для предотвращения несчастий, связанных с такой революцией. Самая идея о том, что моральные запреты и разрешения, уступки и преимущества, понятие красоты и удобства, ответственности и приличия, словом все то, что давало богатство и счастье прежним земледельческим государствам, окажется совсем непригодным в стремительном потоке новейших возможностей и новейших стимулов — такая идея была совершенно чужда сознанию людей девятнадцатого века. То, что гражданин, в обыденной жизни порядочный и честный, может в качестве акционера проявить убийственную жадность; что коммерческие приемы и методы, допустимые в старинном поместье, разрастутся до пределов смертоносных и губительных, что прежняя филантропия сделается новейшим пауперизмом, что прежняя служба обратится в форменную „потогонную систему“, и то, что вообще пересмотр и расширение прав и обязанностей человека действительно необходимы, — все эти вещи были совершенно недоступны сознанию людей девятнадцатого века, сознанию, которое росло под влиянием устарелой системы воспитания и во всех своих умственных навыках постоянно обращалось назад и хваталось за букву закона. Было известно, что скопление людей в городах порождает неслыханную опасность заразы, и поэтому энергично стремились к оздоровлению города; но то, что зараза лихоимства и

азарта, жестокости и роскоши привьется в человечестве и вызовет ужасные последствия, — этого не могли уразуметь умы девятнадцатого века. И вот, таким образом рост городов, кишящих человеческим несчастьем, рост, который знаменует собою начало двадцать первого века — вылился в неорганический процесс, совершенно неуправляемый творческой волей человека.

Новое общество делилось на три основных класса. На самой вершине стоял спящий Собственник, случайно, помимой своей воли ставший владельцем полумира, всесильный и безвольный, последнее воплощение Гамлета на земле. Внизу копошилась огромная масса рабочих, подвластная гигантским компаниям, объединившим производство. Промежуточное место занимал средний класс, численность которого медленно убывала. Тут были чиновники всякого рода, надсмотрщики, заведующие, врачи, ученые, адвокаты, артисты; также мелкие акционеры и рантье. Они жили с комфортом, но обеспеченного положения не имели и зависели от немногих промышленников-магнатов.

К этому среднему классу принадлежали также Дэнтон и Элизабет. После неудачной попытки жить в полях, они снова вернулись в Лондон. У Дэнтона не было средств, и потому Элизабет сделала заем в расчете на бумаги, которые хранились у Мориса в ожидании ее совершеннолетия.

Ей пришлось заплатить высокие проценты, ибо ручательство в уплате было не очень надежное; к тому же ариометика влюбленных отличается неясностью и оптимизмом. Для них настали светлые безоблачные дни. Они решили отказаться от поездки в дальний Город Веселья, и не тратить время в воздушных путешествиях из одной части света в другую; несмотря на все разочарования, они еще были верны своим старомодным вкусам. И потому они наняли квартиру и стали украшать ее мебелью старинных эпох. На сорок втором этаже Седьмой улицы отыскали лавку, где можно было покупать настоящие печатные книги 19-го века. Им доставляло удовольствие заменять новейший фонограф старинным чтением.

Когда, с течением времени, на свет появилась маленькая девочка, Элизабет, вопреки обычаю, не отослала ее в Ясли, но оставила при себе. Конечно, из-за этой прихоти их квартирная плата была повышена, но на это не стоило обращать никакого внимания. Только пришлось сделать новый заем побольше прежнего.

В свое время Элизабет достигла совершеннолетия, и Дэнтон имел с ее отцом деловой разговор не очень приятного

свойства. Затем последовал другой разговор — с ростовщиком, еще более неприятный; Дэнтон вышел оттуда бледный и отправился домой. Тут Элизабет с увлечением стала ему описывать, как их удивительная малютка научилась складывать губки и выговаривать „Гу!“ — но он не слушал. В самом разгаре рассказа он прервал Элизабет восклицанием.

— Как ты думаешь, сколько у нас осталось денег за всеми расчетами?

Элизабет сразу замолкла и перестала восхищаться гениальностью Гу, аккомпанировавшей рассказу Элизабет своими криками.

— Ты говоришь...

— Да, я говорю. Мы были глупы. Эти проценты за долг и еще бог знает что. И к тому же бумаги упали. Отец не следил. Сказал, что после нашего поступка это не его дело. Он, видишь ли, еще сам собирается жениться. А у нас всего на-всего осталась тысяча.

— Одна тысяча?

— Да, одна тысяча.

Элизабет опустила на стул. Она побледнела, взглянула на Дэнтона, потом обвела глазами милую старомодную комнату с мебелью 19-го века и настоящими олеографиями и поглядела на маленькую, беспомощную фигурку, лежавшую на руках.

Дэнтон поймал этот взгляд и понурил голову. Но тотчас же резко повернулся и забегал по комнате.

— Мне надо искать работу, — заговорил он быстро, — я подлый бездельник. Мне надо было раньше подумать об этом. Я жил, как дурак. Боялся оставить тебя одну.

Он оборвал свою речь, подошел к жене и поцеловал ее, потом поцеловал личико своей маленькой девочки, прильнувшей к груди Элизабет.

— Не бойся, дорогая, — сказал он уже успокоительно. — Теперь ты не будешь скучать, малютка Дингс уже начинает понемногу говорить с тобой. А я стану искать работы. Найду, наверное... Только в первую минуту я оробел. А теперь я вижу, все уладится. Я уверен. Вот я только отдохну, и тотчас же отправлюсь. Это всегда только сначала тяжело...

— Конечно, эту квартиру жалко оставить, — сказала Элизабет, — но все-таки...

— Зачем же оставлять? Поверь мне, и так обойдется.

— Дорого...

Но Дэнтон не дал ей говорить дальше об этом. Он стал распространяться о своей будущей работе. Он не делал никаких определенных указаний, но тем тверже была его уве-

ренность: что-нибудь да найдется, что-нибудь такое, что даст им возможность жить попрежнему — жизнью людей достаточного класса. Другой жизни до сих пор они не знали.

— В Лондоне проживают тридцать три миллиона, — сказал Дэнтон. — Среди этих миллионов должны же быть такие, которым я понадоблюсь.

— Должны быть.

— Беда в другом. Видишь-ли, этот Биндон, тот маленький смуглый старик, за которого твой отец хотел тебя выдать, — Биндон человек с влиянием. Я не могу поступить на свое прежнее место: Биндон стал директором служащих нашей Летательной Станции.

— Я этого не знала, — сказала Элизабет.

— Он получил назначение с месяц назад. Не случись этого думать пришлось бы недолго: меня все любили на станции. Но это ничего не значит, есть много других занятий, целые десятки. Не беспокойся, моя дорогая... Вот я немного отдохну, потом мы пообедаем, и я полечу на поиски. У меня уйма знакомых.

Отдохнули, отправились в обеденную залу и после обеда, прямо оттуда Дэнтон пошел искать себе место. Но очень скоро он убедился, что, несмотря на весь новейший прогресс, есть вещь, которая попадает на свете попрежнему редко, — а именно, легкое, удобное, почетное и выгодное место, которое давало бы досуг для семейной жизни, не требовало бы особых знаний, не было бы связано с усиленной работой или риском, и вообще не было бы связано ни с какими жертвами; он составлял разнообразные проекты и, странствуя по городу из конца в конец, тратил свое время на розыски влиятельных друзей. Влиятельные друзья принимали его приветливо и не скупилась на обещания, но когда речь доходила до деловых подробностей, тон их изменялся и становился уклончивым. Он прощался с ними холодно, и потом на ходу размышлял об их отношении к нему, кипятился и забегал в телефонную будку, чтоб тратить и время и деньги на ссору, очень энергичную, но совершенно бесполезную.

А время все уходило. Дэнтон до такой степени упал духом, что ему стоило усилий выказывать перед Элизабет прежнюю бодрость и веру. Впрочем, Элизабет ясно читала в его озабоченной душе, — у всех любящих женщин есть эта способность.

В одно утро Дэнтону пришлось наконец заговорить. Но после длинного и запутанного предисловия Элизабет сама пришла к нему на помощь. Дэнтон опасался, что она расплачется: дело шло о продаже их обстановки, всех этих —

с такой любовью собранных сокровищ старинной эпохи — шитых ковриков, занавесей, лакированной мебели, гравюр и акварелей в позолоченных рамках, цветов в горшках, птичьих чучел и разных других редкостей. Но Элизабет первая произнесла решительное слово. Она весело глядела, как будто распродажа и предстоящий переезд на другую квартиру, этажей на десять ниже, только забавляют ее.

— Пока с нами Малютка, все это пустое, — повторяла она. — Маленький опыт — и только.

Дэнтон поцеловал ее и похвалил ее мужество, но не решился напомнить, что их квартирная плата на новом месте будет значительно выше из-за того веселого крика, которым малютка Дингс встречала вечный уличный гам. Дэнтон рассчитывал избавить Элизабет от зрелища этой печальной распродажи, но в последнюю минуту вышло так, что Элизабет осталась торговаться со скупщиками, а Дэнтон ушел из дома и долго блуждал по улицам, расстроенный и бледный, и со страхом думал о будущем.

Из своих богато-меблированных бело-розовых апартаментов они перебрались в дешевый отель. Первую неделю Дэнтон проявлял огромную энергию, но следующую — угрюмо просидел дома, никуда не выходя. Все это время Элизабет сияла, как солнце, но под конец горе Дэнтона нашло выход в слезах. После этого он снова отправился на поиски, и, к собственному удивлению, нашел наконец работу.

Его притязания успели уже уменьшиться, и он соглашался на любую должность — только бы не сделаться рабочим Компаний. В первые дни он рассчитывал занять хорошее место на службе Воздушных Двигателей, или по Водоснабжению или при Городских Путиях; он пробовал также пристроиться в конторах Извещений, которые заменяли газеты; пытался вступить компаньоном в промышленное предприятие, но все это оказалось из области мечтаний. Потом попробовал играть на бирже, — и триста золотых „Львов“ из последней тысячи ушли по этой дороге. Теперь он был рад и тому, что его наружность и манеры доставили ему наконец место приказчика в большом Синдикате Шляп Сусанны — сюда Дэнтон взял пока на пробу — на месяц. Синдикат Сусанны торговал дамскими чепчиками, цветами, перьями, но больше всего шляпами: хотя городские улицы были прикрыты кровлей, дамы все-таки еще носили в театрах и церквях пышные, богато-разукрашенные шляпы.

Было бы поучительно показать бывшему лавочнику с Риджент-Стрита 19-го века этот современный магазин. Восемнадцатая улица еще иногда называлась по старой памяти

Риджент-Стрит, но теперь она была заполнена бегущими платформами и имела около восьмисот футов ширины. Средняя часть улицы была неподвижна и оттуда спускались широкие лестницы на подземные пути, к домам направо и налево. Сверху, по обе стороны, как подвижные террасы, друг над другом бежали платформы различной скорости; каждая дальнейшая ступень двигалась быстрее предыдущей на пять миль в час, так что можно было легко переходить с платформы на платформу, и, добравшись до самой быстроходной, вместе с ней переправиться на другой конец города.

Магазин Шляп Сусанны широким фасадом выходил на верхнюю улицу, справа и слева. С обеих сторон виднелись вверху, ярус над ярусом, ряды широких экранов из белого стекла; на экранах, непрерывно сменяясь, выплывали ярко освещенные и увеличенные изображения известных красавиц, увенчанных новыми шляпами. На средней неподвижной полосе всегда собиралась толпа, любящая кинематографом, где демонстрировались последние модные новинки. Вся наружная часть здания представляла собою постоянно меняющуюся хроматическую гамму красок. По обоим фасадам во всю ширину—на четыреста футов, и вверху над экранами поперек всей улицы, вспыхивала и мигала и сверкала сотнями разных цветов и шрифтов та же неизменная надпись:

„Сусанна Шляпы! Сусанна Шляпы!“

Целая батарея огромных фонографов заглушала уличный шум и выпаливала: „Шляпы!“—прямо в уши прохожим. Подальше—другая батарея приглашала столь же оглушительно: „Зайдите к Сусанне!“, а третья задавала вопрос: „Почему же вы не покупаете барышние шляпу?“ Для тех, кто страдал глухотой,—а в Лондоне того времени было не мало таких,—надписи всякого рода отбрасывались с кровли прямо на платформы пути; каждую минуту являлся огненный палец и писал на чьей-нибудь руке или лысине, или на дамском плече все тот же заветный лозунг: „Шляпы, дешевые шляпы!“; из-под самых ног вырывался сноп пламени и развертывался в такую же надпись.

И все-таки уличная жизнь протекала с таким напряжением, а зрение и слух до такой степени привыкли пропускать мимо все ненужное, что многие тысячи жителей каждый день проходили по этому месту и даже не знали названия: „Шляпа Сусанны“. Для входа в магазин нужно было спуститься от средних платформ по лестнице вниз и пройти по пассажиру. Там прогуливались красивые девушки, которые за умеренную плату соглашались служить живою выставкою для новых шляп. В передней зале у входа грациозно вра-

щались на пьедесталах восковые бюсты женщин, увенчанных шляпами; за кассами тянулись длинные ряды отделений. В каждом отделении были зеркала, кинематограф, мягкие кресла и изысканные лакомства. Все это находилось в заведывании приказчика, который имел под рукою несколько модных образцов и был связан телефоном и передаточной проволокой с центральным депо магазина.

Дэнтон занял место приказчика в одном из таких отделений. Обязанности его состояли в том, чтоб встречать каждую покупательницу, быть с ней возможно любезнее угощать ее сластями, разговаривать с ней на какую угодно тему, но при этом стараться незаметно перевести разговор на шляпы. Дэнтон должен был также предлагать для примерки различные образцы и при этом высказывать свой восторг, но так, чтобы не было заметно лести, так, чтобы восхищение выражалось больше в жестах и взглядах, чем в словах. В отделении был набор подвижных зеркал. Эти зеркала были устроены так, что путем легких изменений поверхности и окраски, можно было в самом выгодном свете показать женщину любого типа и сложения; многое зависело от того, как пользоваться этими зеркалами.

Дэнтон принялся за эти странные маневры с таким жаром, который с полгода тому назад удивил бы его самого. Но все это рвение было напрасно.

Старшая приказчица, которая приняла Дэнтон на службу и сперва даже высказывала ему много мелких знаков приязни, внезапно изменила свое обращение с ним, без всякого повода заявила, что он не годится, и отказала ему от места недель через шесть со дня поступления.

Таким образом Дэнтону пришлось возобновить свои поиски. На этот раз они длились недолго. Деньги уже приходили к концу. Чтобы протянуть их немного подольше, решились наконец расстаться с удивительной малюткой Дингс и поместить ее в детские ясли, как делали все другие. Промышленная эмансипация женщин вместе с уничтожением так называемого домашнего очага, сделала ясли необходимою для всех, кроме людей очень богатых или очень старомодных. В этих учреждениях дети находили уход и воспитание, какие были совершенно не по средствам каждой отдельной семье. Были ясли разного типа и класса, от самых роскошных—до яслей Рабочей Компании, где дети получали бесплатный приют, но за это в будущем обязаны были работать у Компании.

Однако, Дэнтон и Элизабет, как люди старомодные, полные странных идей 19-го века, от всей души ненавидели эти

удобные учреждения, и, лишь скрепя сердце, понесли туда свою маленькую дочь. Их встретила женщина почтенного вида в форменной одежде. Она давала им короткие и быстрые ответы, пока Элизабет не расплакалась, передавая ей своего ребенка. При виде этих слез, не совсем обыкновенных в эту эпоху, женщина смягчилась, заговорила ласково, и этим на всю жизнь завоевала симпатии Элизабет. Их провели в обширную залу, где около десятка нянь наблюдали за целым выводком маленьких двухлетних девочек, забавлявшихся на полу разнообразными игрушками. Это была зала двухлеток. Две няни подошли и приняли малютку. Элизабет ревнивыми глазами следила за каждым их движением. Конечно, они обращались с ребенком ласково, это было видно, но все-таки...

Скоро настала пора уходить. Малютка Дингс уже сидела в уголку; руки у нее полны были игрушек, да и сама она наполовину была завалена этими, свалившимися с неба, сокровищами. Она так увлеклась, что даже не обратила внимания, когда ее родители собрались уходить. Их попросили уйти не прощаясь, чтобы не растревожить девочку.

В дверях Элизабет оглянулась еще раз и вдруг неожиданно увидела: малютка бросила свои богатства и встала с огорченным личиком. Губы Элизабет дрогнули, но надзирательница потянула ее из комнаты и закрыла дверь.

— Но, дорогая, ведь вы можете притти хоть завтра, — сказала женщина с неожиданным проблеском нежности в спокойных глазах. Элизабет смотрела на нее остановившимся, пустым взглядом.

— Приходите скорее, — сказала надзирательница, и через секунду Элизабет уже плакала на ее широкой и ласковой груди. Так надзирательница покорила и сердце Дэнтона.

Через три недели молодые супруги остались без гроша. Теперь им оставался только один путь. Надо было идти в Рабочую Контору. Им нечем было заплатить в отеле за последнюю неделю. Администрация тотчас же задержала их скудное имущество и без дальнейших церемоний указала им на дверь.

Элизабет молча прошла по коридору и стала подниматься по лестнице на подвижные пути. Дэнтон отстал: он сердито и без всякой пользы спорил с швейцаром отеля; красный и злой — вскоре догнал он Элизабет. Догнавши, пошел медленнее, рядом, молча, поднимались они на среднюю платформу. Тут нашли два свободных стула, сели.

— Нам еще не надо идти туда? — спросила Элизабет.

— Нет, — сказал Дэнтон, — пока мы не голодны.

Они замолчали.

Элизабет посмотрела кругом. С правой стороны платформы бежали к востоку, с левой стороны — к западу. Кругом кишел народ. И над головою на туго натянутом канате кривлялась вереница странных фигур: они были одеты клоунами, у каждого на груди и на спине была огромная буква, и из этих букв составлялась надпись:

„Слабительные пилюли Перкинджи“.

Чухлая женщина в ужасном, неуклюжем платье из синей холстины указала маленькой девчонке на одну из этих живых, бегающих букв.

— Видишь? Это твой отец.

— Который? — спросила девчонка.

— Вон тот, с красным носом, — сказала женщина.

Девчонка заплакала, и Элизабет тоже захотелось заплакать.

— Ну-ну, — сказала женщина. — Видишь, как он ногами выкидывает. Гляди-ка, а?

С правой стороны на стене выскакивал огромный диск яркого, бросающегося в глаза цвета, и поминутно выступали и пропадали огненные буквы:

„Не кружится ли у вас голова?“

Потом — после паузы:

„Примите пилюлю Перкинджи“.

Раздался оглушительный рев. Это была машина для объявлений.

— Если вы любите модную литературу, переведите телефон на Брэггlsa, Брэггls — великий писатель, великий мыслитель нового времени. Набьет вас мудростью до самой макушки. Вылитый Сократ, — кроме затылка: затылок у него такой же, как у Шекспира. У него шесть пальцев на правой ноге, он одевается в красное платье и никогда не чистит зубов. Послушайте его!“

Выбирая моменты, когда этот рев затихал, Дэнтон говорил Элизабет:

— Тебе не следовало выходить за меня; я растратил твои деньги, раззорил тебя, привел тебя к гибели... Я подлый человек... О, этот проклятый мир!

Элизабет хотела возразить, но несколько мгновений не могла произнести ни слова. Только схватила его за руку.

— Неправда, — сказала она наконец. И вдруг встала, как будто вспомнив что-то.

— Пойдем, — сказала она.

Дэнтон тоже встал.

— Еще не время идти, — возразил он.

— Не туда, — сказала Элизабет. — Сходим сначала на станцию, где мы встречались. Помнишь? На той скамье...

Дэнтон посмотрел нерешительно и сказал:

— Ты можешь теперь итти туда?

— Мне это нужно, — ответила Элизабэт.

Дэнтон постоял с минуту, потом покорно пошел вслед за ней.

Они провели свой последний свободный день там на платформе, под открытым небом, на той же знакомой скамье, где они встречались пять лет назад. Элизабэт повторяла Дэнтону, что она не раскаивается, что даже теперь, на краю унижения и бедности, она счастлива прошлым. День выдался солнечный; на платформе было тепло и сухо, в ясном небе мелькали, поблескивая, аэропланы.

Солнце садилось. Надо было итти. Они встали, пожали друг другу руки, как будто попрощались, и вернулись на городские пути. Шли рядом, усталые, голодные, обтрепанные. Перебираясь с платформы на платформу, они добрались до места и увидели вывеску светло-синего цвета: это была контора Рабочей Компании. Несколько мгновений они постояли на средней платформе, затем спустились и вошли в контору.

Рабочая Компания вначале была благотворительным учреждением; она имела целью доставить пищу, кров и работу всем нуждающимся. И кроме того, ставила своей задачей дать пищу, приют и медицинскую помощь всем больным, которые к ней обращались. Вместо платы больные давали расписки с переводом всех издержек на рабочие часы; эти расписки они должны были погасить по выздоровлении — трудом. Они скрепляли свои расписки отпечатком большого пальца, потом отпечатки фотографировались и заносились в строго установленном порядке в рабочие регистры, и таким образом каждый клиент из общего числа в 200 или 300 миллионов мог быть опознан после короткого розыска.

Дневной труд исчислялся в два промежутка, применительно к работе генератора, дающего электрическую силу, — или к ее эквиваленту. Исполнение этой работы было обещено принудительным законом. На практике Рабочая Компания нашла необходимым прибавить к ежедневной рабочей плате несколько пенсов в виде премии за успешную работу.

Эта замечательная организация стала снабжать дешевым и послушным трудом низшего качества промышленные предприятия всего земного шара. Почти третья часть населения земного шара от колыбели до самой могилы числилась в составе должников и рабов Компании.

Дэнтон и Элизабэт сидели в обширной приемной, дожидаясь очереди. Большая часть ожидавших уныло молчала. Но было несколько мужчин и женщин, молодых и пестро

одетых, которые шумели за всех. Это были урожденные клиенты Рабочей Компании, — от самого рождения, от койки родильного дома — до койки госпиталя. Они возвращались с праздника, устроенного на скопленные пенсы прибавочной платы. Они имели гордый вид и без умолку болтали на простонародном диалекте предков.

Глаза Элизабэт обратились от них к более скромным фигурам. Одна в особенности невольно вызвала жалость. Это была женщина лет сорока. Ее крашенные волосы успели полинять и грязные слезы катились по размазанным щекам. Ее костлявые плечи и голодные глаза и жалкая роскошь крикливого наряда не нуждались в объяснениях. Рядом с нею сидел седой старик в одежде епископа одной из англиканских сект: ведь теперь религия сделалась также коммерческим делом и, как во всяком другом предприятии, здесь тоже бывали свои неудачи. Дальше хмурил брови юноша лет двадцати с изможденным лицом и вызывающим видом.

Наконец, очередь дошла до Элизабэт, потом до Дэнтона. Записи вела регистраторша, — Рабочая Компания предпочитала женщин на этих местах. У регистраторши было энергичное лицо, презрительный взгляд и очень неприятный голос. Она выдала Элизабэт и Дэнтону по несколько разных билетиков; на одном, между прочим, значилось, что они сохраняют право не стричься под гребенку. После того им дали приложить к регистру большие пальцы, сообщили номер, соответствующий их отпечатку, и предложили переменить их изношенное платье городского покроя на синюю форму Компании. Переодевшись, они отправились в обширную столовую получить свой первый казенный обед. После обеда им следовало возвратиться в контору за получением указанного относительно работы.

Когда они переоделись, у Элизабэт, казалось, просто не было силы поднять лицо. Но Дэнтон посмотрел на нее и с удивлением увидел, что даже в этой грубой одежде она осталась все так же прекрасна. Потом на сцену явились хлебка и хлеб, подъехав по узеньким рельсам к самому их месту за обеденным столом, и Дэнтон уже больше не смотрел никуда: и он и Элизабэт не обедали уже четвертые сутки.

После обеда немного отдохнули. Говорить было не о чем, молчали. Скоро они поднялись и вернулись в контору узнать о своей дальнейшей судьбе.

Регистраторша заглянула в список.

— Комната ваша не здесь. Это в квартале Гайбэри, 2017 номер, девяносто-седьмая улица. Лучше запишите на ваших билетах. Вы, женщина — 000, седьмой разряд, 64 b. c. d.

гамма 41, ступайте на фабрику металлических панелей и сделайте пробу. Четыре пенса в день, если сумеете. А вы, мужчина—071, четвертый разряд, 709, g. f. b. p. 95, вы отправляйтесь в Фотографическую Компанию, на восемьдесят первой улице. Там вам покажут. Три пенса в день... Вот ваши билеты. Следующий...—Что, не запомнили? О, господи! Значит придется повторить. Зачем же вы не слушали? Ведь уши есть. Думают, что все это так себе...

Им пришлось пройти вместе часть пути. Теперь они уже страхнули свое молчание, и им казалось, что, надев синюю холстину, они уже как будто перешли через самое худшее. Дэнтон даже стал проявлять интерес к своей будущей работе.

— Какая бы она ни была, — сказал он, — все-таки хуже не будет, чем в шляпном магазине. И за вычетом платы за нашу Дингс, у нас с тобой останется один пенс в день. Потом, быть может, подучимся, станем зарабатывать больше.

Элизабет была не так разговорчива.

— Отчего это работа кажется такой невыносимой? — сказала она.

— Да, — сказал медленно Дэнтон, — я думаю—оттого, что это работа невольная, под чужим присмотром. Будем надеяться, что у нас надсмотрщики будут не злые.

Элизабет не отвечала. Она была занята собственными мыслями.

— Конечно, — сказала она. — Всю свою жизнь мы пользовались чужим трудом. Теперь пришла наша очередь...

Она остановилась перед неожиданным и малопонятным выходом.

— Мы ведь платили, — сказал Дэнтон. Такой порядок вещей казался ему весьма естественным.

— Мы ничего не делали—и все же платили. Этого я не понимаю... Быть может теперь мы расплачиваемся...—сказала Элизабет: она еще держалась старинной примитивной философии.

После этого они расстались, и каждый пошел на указанное место. Дэнтону поручили присматривать за огромным гидравлическим прессом, который работал так, как будто был одарен собственным разумом. Пресс приводился в действие притоком морской воды, которая в конце концов изливалась в подземные каналы и уходила в поля. В эти дни давно уже прекратилась безумная трата пресной воды на очистку городских отходов. Морская вода протекала в город с востока по огромному каналу, потом поднималась действием чудовищных наносов на высоту 400 футов над уровнем моря и накачивалась в особые резервуары, откуда распределялась во все стороны по миллионам труб, подобных арте-

риям. Вода стекала вниз, двигала машины, полоскала, очищала, потом спускалась по бесчисленным отводам, попадала в магистраль, в cloaca maxima, и, наконец, уносила городское удобрение на сельскохозяйственную площадь, окружавшую Лондон.

Работа пресса имела какое-то отношение к механической фотографии, но подробности не касались Дэнтона. Одним из условий работы было рубиновое освещение, и потому комната имела только один круглый цветной фонарь, который разливал кругом алые зловещие лучи. В самом темном углу помещался пресс, при котором Дэнтон состоял только слугою. Пресс был огромный, тускло-блестящий, с большим колпаком, который несколько напоминал склоненную голову. В этом унылом свете, который был необходим для его непонятной работы, пресс расселся широко и важно, словно металлический Будда. И порою Дэнтону казалось, что это загадочный идол, которому люди в странном безумии принесли в жертву его, Дэнтона, жизнь. Работа самого Дэнтона была очень однообразна. Обычно пресс работал без заминки с легким постукиванием; но как только изменялось количество или качество тестообразной смеси, которая постоянно притекала по питательному каналу и сплющивалась в тонкие пластинки, пресс извещал об этом Дэнтона изменением ритма, и нужно было тотчас же переставить рычаги. Малейшее замедление причиняло напрасную порчу смеси и кончалось для Дэнтона вычетом пенса, или двух, из его ничтожной платы. Если приток смеси прекращался (во время приготовления этой смеси кое-что приходилось делать в ручную, и эта работа нередко прерывалась какими-то судорожными припадками у мастеров)—следовало тотчас же остановить пресс.

Было много других предписаний такого же рода, и соблюдение их требовало напряженного внимания, особенно тягостного при полном отсутствии интереса. В этом пассивном напряжении Дэнтон проводил отныне третью часть своей жизни. Его рабочие часы протекали в одиночестве, если не считать коротких посещений надсмотрщика, человека добродушного, но с удивительным даром самой изысканной брани.

Работа Элизабет была сложнее. В то время у очень богатых людей была мода покрывать стены в комнатах металлическими панелями с красивыми узорами, правильно повторяющимися, как на обоях. Однако, по вкусу эпохи требовалось, чтобы эти узоры выделялись не механическим, а ручным способом, чтобы не было однообразия. Лучше всего такие узоры выходили у женщин, а особенно ценились женщины с природным вкусом и некоторым образованием.

Работать приходилось довольно медленно, при помощи молоточка и маленьких штампов. Элизабет должна была исполнить обязательный урок в столько-то квадратных дюймов; за каждый дюйм сверхурочной работы она получала небольшую прибавочную плату. Работа производилась в обширной мастерской под надзором надсмотрщицы. Компания остерегалась назначать мужчин к надзору за женским трудом: мужчины были не только менее требовательны, но кроме того—неизбежно склонялись к попустительству в пользу фавориток.

Надсмотрщица была довольно пожилая женщина, не злая и молчаливая, со следами былой красоты на смуглом лице. Вся мастерская, конечно, ненавидела ее, и товарки Элизабет по общей работе тотчас же сообщили ей ходячую сплетню об интимных отношениях надсмотрщицы к одному из директоров, через которого она будто бы получила свое место.

Из всех работниц мастерской только две или три родились в синей холстине. Это были девицы с плоским лицом, унылого вида; другие, напротив, соответственно мерилу 19-го века, могли бы называться благородными, но обедневшими дамами. Впрочем, идеал благородной дамы весьма изменился. Все бесцветные пассивные добродетели, тихий голос и сдержанные жесты старомодных дам исчезли без следа.

Подруги Элизабет самыми своими волосами, обесцвеченными от краски, и лицами, поблекшими от притираний, и даже разговорами—недвусмысленно свидетельствовали о блеске былого веселья. Все они были гораздо старше, чем Элизабет, и иные из них откровенно удивлялись, что такая молодая и красивая не нашла себе ничего получше этой работы. Впрочем, Элизабет не смущала их своими старомодными возражениями.

Разговоры в мастерской дозволялись и даже поощрялись, так как правление убедилось, что каждая искра разнообразия в настроении работниц рождает также счастливое разнообразие в качестве работы.

Таким образом Элизабет, почти против воли, пришлось выслушивать рассказ за рассказом. Все эти рассказы были несвязны и полны преувеличений, но все-таки очень характерны. Скоро она стала находить вкус в мелких ссорах и интригах, в маленьких недоразумениях и временных союзах—во всем, что происходило в среде окружающих ее женщин. Одна с неиссякаемой болтливостью описывала своего замечательного сына. Другая усвоила умышленную грубость речей, видимо, считая ее явным признаком духовной оригинальности. Третья думала постоянно о платьях и тотчас же

с таинственным видом сообщила Элизабет, как много пенсов она скопила из прибавочной платы и как она устроит себе праздник и наденет... И целые часы посвящались подробным описаниям.

Еще две женщины—сидели всегда вместе и называли друг друга уменьшительными именами: но потом случалась какая-нибудь мелочь—и они садились отдельно и уже не обращали друг на друга ровно никакого внимания. И постоянно из-под каждой руки раздавался стук молотка: тап-тап-тап.

Надсмотрщица следила за ритмом и, если кто отставал, делала замечание.

— Тап-тап-тап,—молоточком.

Так проходили их дни, и годы, и вся жизнь. Элизабет сидела вместе с другими и тоже стучала спокойно, уныло и покорно, размышляя о своей судьбе:

— Тап-тап-тап! Тап-тап-тап! Тап-тап-тап!

Для Дэнтон и Элизабет потянулась вереница рабочих дней, и эта работа скоро сделала их руки грубыми, внесла непривычную суровость в самую ткань их изнеженной души и привожила на их лицах глубокие морщины и тени.

Прежние культурные привычки стали исчезать. Элизабет и Дэнтон приспособились к угрюмой жизни подвального мира, привыкли подчиняться грубости, переносить унижения и придирки,—эту неизменную приправу к скудному хлебу городской нищеты. Никаких значительных происшествий не было. Горько и трудно было переносить эту жизнь, но рассказывать о ней—было бы скучно. Одно только случилось за это время,—одно, сделавшее мрак их жизни окончательно беспросветным: малютка Дингс заболела и умерла.

Но эту простую, старинную, грустную новость рассказывали так часто и так красноречиво, что нет никакой нужды повторять ее снова. Был тот же острый страх и та же тоскливая забота, оттягивание неизбежного удара и черное молчание. Так было, так будет всегда. Это есть часть неизбежного.

После долгих, унылых, мучительных дней, первая нарушила молчание Элизабет. Она, разумеется, не стала поминать любимое детское имя, которое не было больше именем жизни, она заговорила о мраке, наполнившем ей душу. Они прошли, как обычно, по городским переходам, полным движения и шума. Клики торговой рекламы, вопли политических призывов, зазывания религий—звенели кругом, не доходя до их слуха; полосы яркого света, отблески пляшущих букв и огненных объявлений падали на их измученные лица и не

задевали их зрение. Они пообедали вместе в столовой за особым столом.

— Сходим на наше местечко, — начала Элизабет уверенно. — Ты помнишь, — на станцию аэропланов. Здесь говорить не под силу.

— Сходим на станцию, посмотрим нашу скамью. Здесь нельзя говорить.

— Ночь застанет, — сказал Дэнтон с удивлением.

— Нет, пожалуйста. Ночь ясная, — сказала Элизабет.

Дэнтон увидел, что она не находит слов, и понял: она хочет еще раз взглянуть на звезды, которые пять лет тому назад видели начало их бурной любви.

У него перехватило горло, и он отвернулся, чтобы не заплакать.

— Времени хватит. Пойдем, — сказал он коротко.

— Если бы только понять, — сказала она, — как это выходит. Пока сидишь там, внизу, город все заглушает: шум, суета, голоса — и чувствуешь: надо жить, надо карабкаться. Сюда придешь, — мир кажется ничтожным, кажется каким-то миражем.

— Здесь можно думать спокойно. Да! — сказал Дэнтон. — Как все это непрочное! И если глядишь отсюда, так кажется — уж больше половины растаяло во тьме. Все это исчезнет.

Они добрались наконец до знакомой скамейки на станции аэропланов и долго сидели там в молчании. Скамья оставалась в тени, но над ними светилась бледно-голубая вышина, и под ними расстился весь город, — сияющие пятна, квадраты и кружки, связанные в яркую сеть. И звезды казались так тусклы и мелки. Когда-то наблюдателю старого мира они казались близки, но теперь они стали бесконечно далеки. Но все-таки их можно было видеть на более темных местах, в промежутках между искусственными сияниями, особенно в северной части неба. Древние созвездия скользили вокруг полюса терпеливо и неустанно.

— Мы прежде исчезнем, — вздохнула Элизабет.

— Я знаю, — сказал Дэнтон. — Наша жизнь — только мгновение, но ведь и вся людская история — это вчерашний день. Да, мы исчезнем, и город исчезнет, и все живое и сущее, Человек и Сверх-Человек, и будущие чудеса. И все-таки...

Он остановился, но тотчас же начал снова.

— Я, кажется, понимаю, что ты хотела сказать. Там, внизу, думаешь только о нужде и работе, о мелких обидах и наслаждениях, об еде и питье, о горе и радости, — и знаешь одно: так будешь жить, а потом умрешь. День за днем — нет ничего, кроме обычного бремени. Здесь, наверху, все кажется иначе. Например, там, в городе, кажется, что изуродованному, уни-

женному, обесчещенному, жить незачем. Здесь, перед звездами, все эти вещи кажутся такими ничтожными. Сами по себе они не имеют значения, они только части какого-то целого. И все это как-то проходит мимо, почти не затрагивая.

Он остановился. Его смутные мысли и неуловимые чувства как будто меркли и таяли в одежде из слов.

— Мне трудно объяснить, — сказал он, почти с изумлением. Оба помолчали.

— Хорошо приходить сюда, — сказал он снова. Ведь надо сознаться: ум наш так ограничен. Что мы такое в конце концов? Жалкие твари, немногим выше зверей, у каждого свой ум — но это только жалкое подобие ума. Мы так глупы. И столько обид... И все-таки...

— Я знаю, знаю... Настанет время, и мы уразумеем. Все напряжение и несогласие жизни сольются в гармонию, и мы уразумеем. Все, что происходит, движется к той же цели. Неудачи и страдания, — это только шаги все по тому же пути. Все это необходимо и ведет к гармонии. Даже самое страшное горе нельзя выкинуть из счета... и самую мелкую беду. Каждый удар твоего молотка об латунь, каждая минута работы и досуга... — милая моя, — каждое движение нашей покойной малютки... Все это необходимо и ведет к гармонии. Все то неясное, что трепещет в нас. Мы, сидящие тут сейчас... Наша любовная страсть и то, что родилось из нее, — теперь это не страсть, а скорее печаль... Милая...

Он не мог говорить дальше. У него не хватало слов, и мысли его неслись так быстро, что словам было не догнать их.

Элизабет не ответила. Но ее рука отыскала и сжала во тьме руку Дэнтона.

IV

ВНИЗУ

Глядя на звезды в ясном ночном небе, можно смириться душой пред несчастьем, но потом снова приходит день, и постылая работа, и нетерпение, и гнев. На свете мало смирения. В былые времена святые отцы бежали от света. Но Дэнтону и его Элизабет некуда было бежать: теперь уже не было путей в те пустынные земли, где людям можно жить, храня мир душевный в свободной нищете. На земле ничего не осталось, кроме огромного города.

Некоторое время муж и жена продолжали заниматься той же работой: она штамповала бронзу, он стоял у фотографического пресса.

Потом пришла перемена и принесла с собой более жестокие испытания. Дэнтон перевели вниз и приставили к другому, более сложному прессу в центральном заводе Лондонского Черепичного Треста.

Ему приходилось теперь работать в огромном сводчатом подвале вместе с другими работниками, по большей части прирожденными рабами синей холстины. Это было для Дэнтоня всего неприятнее. Он получил утонченное воспитание, и пока злая судьба не заставила его одеться в эту рабскую ливрею, он даже ни разу не разговаривал—если не считать случайных приказов—с этими жалкими синими блузниками. Теперь нужно было быть с ними вместе, работать с ними, есть с ними. Ему и Элизабет это казалось последним унижением.

Человеку девятнадцатого века его социальная брезгливость показалась бы чрезмерной. Но в последующие годы медленно и неизбежно выростала широкая бездна между высшими классами и армией труда, рождались все новые различия в образе жизни, и в способе мышления, и даже в языке: подвалы создали свой особенный говор. А наверху развился свой диалект—условный язык мысли, язык культуры, который старался введением новых слов и оборотов отгородиться, как можно дальше, от речи „простого народа“. Общей религии тоже не было больше. Ибо в начале двадцатого века возникли и развились среди различных классов новые эзотерические формы прежней религии, разные комментарии и глоссы, которые глубокое учение еврейского плотника приспособили к узким рамкам современной жизни.

Несмотря на свою склонность к старинным формам жизни, Дэнтон и Элизабет не избежали влияния этой изысканной среды. В житейском обиходе они подчинялись привычкам своего класса и потому, когда им пришлось смешаться с рабочей толпой, она показалась им не лучше, чем грубое стадо скотов. В девятнадцатом веке князь с княгиней, попав в ночлежку вместе с бродягами, страдали бы не больше. Дэнтон и Элизабет почти произвольно старались провести черту между собою и теми.

Но первые попытки Дэнтоня держаться в стороне привели к непридвиденным последствиям. До сих пор он представлял себе, что хуже этой работы и горше смерти ребенка не будет ничего, а между тем все это было только начало.

Жизнь требует от нас не только пассивной покорности. И теперь в толпе машинных слуг ему пришлось получить новый урок, столкнуться с фактором жизни, таким же повелительным, как голод, таким же неизбежным, как труд.

Спокойное молчание Дэнтоня тотчас же вызвало обиду: это молчание было истолковано, как презрение. Простонародного языка Дэнтон не знал и даже гордился этим, но тут ему пришлось изменить свой взгляд на вещи. Сперва Дэнтон просто не заметил, что его формальные короткие ответы на первые шутивно-ругательные приветствия товарищей были для них не лучше, чем удары в лицо.

— Я не понимаю,—сказал он свысока в ответ на первое обращение и потом почти наудачу добавил:—„Нет, благодарю вас“.

Человек, предлагавший ему какую-то мелкую услугу, остановился, нахмурился и отошел в сторону.

Подошел другой и заговорил так же непонятно, потом повторил свои слова более раздельно, и Дэнтон наконец разобрал, что ему предлагают масла в маслянке. Он вежливо поблагодарил. И новый собеседник тотчас же затеял разговор.

Он видит, конечно, что Дэнтон—человек высокого полета, но интересно знать, как он дошел до синей холстинки... Он, очевидно, ожидал услышать занимательный рассказ о кутежах и веселье.—Бывал ли Дэнтон когда-нибудь в Веселом Городе?

Скоро Дэнтон уразумел, насколько постоянная мысль об этих удивительных местах наслаждений овладела воображением и разумом несчастных слуг труда, обитавших в этом подземном мире.

Чувство достоинства Дэнтоня было оскорблено этими вопросами. Он коротко ответил: „Не был!“ Человек задал еще вопрос очень личного свойства. Вместо ответа Дэнтон отвернулся.

— Эка, чорт!—выругался человек с видимым изумлением.

Через минуту Дэнтон заметил наконец, что об этой попытке разговора толкуют в разных углах, то с бранью, то с ироническим смехом. Он почувствовал себя еще более чужим и, чтобы заглушить это чувство, стал думать о новом прессе и незнакомых еще деталях работы. Он работал без остановки почти до полудня. Потом наступил перерыв. Это был только получасовой промежуток, и не хватало времени даже на то, чтобы пойти и поесть в столовой Рабочей Компании. Дэнтон вышел вслед за другими в боковую галлерею.

Рабочие расселись на ящиках и стали доставать узелки с едой. У Дэнтоня ничего не было. Надсмотрщик, беспечный молодой человек, попавший на свое место по протекции, забыл предупредить его, что нужно получать и приносить с собою завтраки. Дэнтон стоял в стороне, чувствуя, что

есть очень хочется. Соседняя группа стала о чем-то шептаться, поглядывая на него. Ему стало неловко. Чтобы рассеять это чувство неловкости, он принялся усиленно думать о рычагах своего нового пресса.

Через минуту к Дэнтону снова подошел человек. Человек этот был ниже Дэнтона, но с виду крепче и шире в плечах. Дэнтон обернулся к нему и сделал самое равнодушное лицо.

— На, вот!—сказал делегат (Дэнтон счел его за делегата), протянул кусок хлеба на грязной ладони. У него было смуглое лицо, широкий нос, один угол рта немного опущен вниз. Дэнтон с минуту колебался,—принять ли это за любезность, или за оскорбление. Брать этот хлеб ему не хотелось.

— Благодарю вас,—сказал он.—Я не голоден.

Сзади засмеялись.

— Ишь ты!—сказал тот, который недавно предлагал Дэнтону маслянку.—Белая кость, стало быть! Мы для него не компания!

Скучное лицо стало еще темнее.

— На!—повторил человек, продолжая протягивать хлеб.— Съешь этот хлеб. Слышишь?

Дэнтон посмотрел на его угрожающее лицо; странный ток пробежал по всему телу и зажег в Дэнтоне какую-то небывалую энергию.

— Не надо,—возразил он, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.

Плотный человек наклонился вперед и замахнулся хлебом.

— Ешь,—сказал человек. Затем быстрое движение руки—кусочек хлеба описал в воздухе сложную кривую—чуть не попал в лицо Дэнтону, но он ударил кулаком по руке противника. Хлеб отлетел в сторону и упал на землю.

Смуглый человек сделал шаг назад и стиснул кулаки. Лицо у него покраснело и напряглось, глаза стерегли каждое движение Дэнтона. Дэнтон на одну минуту ощутил странную уверенность и даже радость. Кровь его кипела. Все тело зажглось с ног до головы.

— Ну-ка, ребята—крикнул кто-то сзади.

Смуглый прыгнул вперед, согнулся, отскочил и снова напал. Дэнтон взмахнул кулаком и сам тоже получил удар. Ему показалось, что один глаз у него выбит, потом его кулак ткнулся в мягкие губы. Тут Дэнтон получил второй удар, на этот раз в самый подбородок. Перед глазами у него как будто развернулся перисто-огненный веер, голова словно разбилась вдребезги, затем ударило чем-то в затылок и спину, и драка кончилась. Прошло сколько-то времени,

секунды или минуты—Дэнтон не мог сказать в точности. Он лежал на земле, откинув голову на кучу золы, и что-то теплое текло по его шее. Глаз и челюсть болели, и во рту был вкус крови.

— Ничего,—сказал голос.—Открыл глаза.

— Так ему и надо!—сказал другой голос.

Рабочие стояли кругом. Он сделал усилие, приподнялся и сел. Ощупал затылок рукой. Волосы его были мокры и все в золе. Рабочие смеялись. Подбитый глаз у Дэнтона был наполовину закрыт опухолью. Весь его прежний задор исчез бесследно.

— Не нравится?—сказал один.

— Хочешь еще?—спросил другой и потом, подражая изящному тону Дэнтона, прибавил: „Благодарю вас!“

Дэнтон заметил, что смуглый человек стоит сзади, прижимая к лицу окровавленный платок.

— Где этот хлеб?—сказал другой человек, низенький, с острым лицом. Он стал разгребать ногою соседнюю кучу золы.

Дэнтон колебался. С одной стороны он помнил, что мужская честь требует бороться до конца, но с ним такое приключение случилось в первый раз в жизни. Он собирался встать, но не очень спешил.

— Я, должно быть, трусился,—подумал он, но даже эта мысль не подействовала. Воля его ослабела. Весь он был, как будто из свинца.

— Вот он,—сказал остролицый и подобрал кусочек хлеба, серый от налипшего пепла. Он посмотрел на Дэнтона, потом на других.

Дэнтон поднялся медленно, без всякой охоты.

Еще один человек, белобрысый, с грязным лицом, протянул руку к хлебу.

— Дай-ка сюда,—сказал он и угрожающе подошел к Дэнтону с хлебом в руке.

— Что, не наелся еще?—сказал он.—А?

Делать было нечего.

— Нет, не наелся,—сказал Дэнтон с дрожью в голосе. Он стал прицеливаться, чтобы, пока его не сбили с ног, хватить нового противника кулаком в ухо. Теперь уж Дэнтон был убежден, что его, конечно, собьют в первой же схватке. Он сам удивлялся своей прежней самоуверенности: сунет руками вперед раз или два—потом свалится с ног. Глаза его следили за лицом белобрысого. Этот приятно осклабился, как будто собирался выкинуть какую-то забавную штуку. Сердце Дэнтона сжалось от одного предвкушения.

— Брось, Джим,—сказал неожиданно смуглый, не отнимая от лица окровавленной тряпки.—Ты не мешайся!

Усмешка у белобрысого исчезла. Он посмотрел сперва на одного, потом на другого. Дэнтон подумал, что смуглый человек сам хочет докончить расправу. Было бы лучше иметь дело с белобрысым.

— Брось его,—сказал смуглый.—Слышишь? Ему попало довольно.

Раздался звонок—и это решило запутанное положение. Белобрысый колебался еще минуту.

— Счастье твое,—сказал он наконец и прибавил ругательство, потом повернул вслед за другими к прессам.

— Подожди до вечера,—бросил он, уходя, через плечо.

Смуглый пропустил белобрысого вперед и пошел сзади. Во всяком случае Дэнтон получил отсрочку.

Все направились к дверям. Дэнтон вспомнил о своей работе и пошел за другими. В дверях галереи полицейский в желтой одежде (была специальная рабочая полиция) проверял номера.

— Не отставай,—сказал он Дэнтону.

— Ого!—воскликнул он, увидев его синяки.—Кто это разукрасил вас?

— Это мое дело,—возразил Дэнтон.

— А зачем опаздываете?—огрызнулся человек в желтом.—Смотрите!

Дэнтон не ответил. Он был чернорабочий машинный раб. На нем была надета синяя блуза. Даже законы о драках и увечьях не имели силы по отношению к таким, как он. Он опустил голову и прошел к своему прессу.

Кожа на лбу, на щеке, на затылке болела. Ушибы вздувались синяками, набухали запекшейся кровью. Дэнтон был как будто в какой-то странной летаргии, и повернуть рычаг пресса—было для него сейчас все равно, что поднять тяжелую свинцовую гирю. Оскорбленное самолюбие тоже было в ушибах и царапинах. Что именно произошло в последние десять минут? Что произойдет дальше? Нужно было обдумать это серьезно, а он мог думать только несвязными отрывками мыслей.

Он не мог опомниться от тупого удивления. Все его обычные идеи были ниспровергнуты. До сих пор он рассматривал безопасность от физического насилия, как основной элемент человеческой жизни. Это, действительно, было так, пока он состоял в зажиточном классе, носил приличный костюм, был собственником и имел право на социальную защиту. Но кто захочет мешаться в драки рабов труда?

Конечно, никто. В мире подвалов не было права, была только сила. Весь закон и вся государственная машина стали для этих классов орудием гнета, высоким барьером, который загорождал от них собственность и наслаждение, и больше ничем. Грубая сила,—эта стихия, в которой проходит вся зоологическая жизнь и от которой мы защитили сотнями разных плотин нашу хрупкую культуру,—грубая сила хлынула снова в сырые подвалы и затопила их. Здесь было кулачное царство. Дэнтон наткнулся на те же основные элементы—силу, хитрость, упорство, суровую дружбу, какие господствовали в самом начале культуры.

Машина изменила ритм, мысли Дэнтона оборвались.

Через минуту он стал думать снова. Как быстро случилось все это! Он не питал никакой особенной злобы против этих людей, хотя они и поколотили его. Он получил ушибы—и вместе урок. Он видел теперь совершенно ясно, откуда возникла эта ссора. Он поступил по-дурацки.

Высокомерие и отчужденность—это привилегия сильных. Но павший аристократ, который все еще предъявляет свои бессильные претензии, это, конечно, самое жалкое зрелище в мире. Боже милостивый, какое же право у него презирать этих людей?

Отчего эти мысли не пришли ему в голову часов пять тому назад? Что случится опять после работы? Он не мог сказать—что,—не мог даже вообразить. Ибо он не мог представить себе, как мыслят эти люди. Он ощущал их враждебность или равнодушие. В воображении у него смутно мелькали новые картины позора и насилия. Где бы достать оружие? Он вспомнил, как напал на гипнотизера. Но здесь не было ламп с резервуарами. На глаза не попадалось ничего подходящего.

Одно время Дэнтон думал о том, чтоб тотчас же после работы броситься наружу и выскочить на городские пути. Но помимо чувства собственного достоинства его удержала также мысль, что все равно придется завтра вернуться обратно. Он заметил, что остролицый и белобрысый о чем-то совещаются и поглядывают в его сторону. Вскоре после того они подошли к смуглому, который все время упорно поворачивался к Дэнтону своей широкой спиной.

Наконец, наступил и второй перерыв. Человек с масляной быстро остановил свой пресс и повернулся кругом, вытирая рот рукой. В его глазах было выражение спокойного ожидания, как будто он был в театре.

Теперь наступил кризис. Нервы Дэнтона напряглись до чрезвычайности. Он решил защищаться при всякой новой

обида. Он тоже остановил свой пресс и повернулся, чтобы итти. С насильственно-спокойным лицом он вышел из подвала, пошел по коридору мимо ящиков с золою и тут неожиданно заметил, что он оставил свою куртку возле пресса в подвале: в подвале было жарко, и рабочие снимали куртки во время работы. Пришлось вернуться. Дэнтон столкнулся с белобрысым лицом к лицу.

Остролицый был тут же. Он оживленно спорил со смуглым.

— А надо бы ему съесть, — говорил остролицый. — Надо бы, надо бы...

— Не надо, оставь его, — возражал смуглый.

На сегодня, очевидно, Дэнтон был свободен. Он прошел по коридору и поднялся по лестнице на городские пути.

Яркий свет и уличная суета почти ошеломили его. Он вспомнил о своем разбитом лице и стал дрожащими руками ощупывать свои синяки. Потом прошел на самую быструю платформу и сел на скамью, отведенную для чернорабочих.

Мысли его двигались вяло. Он перебирал неторопливо все трудности и опасности своего положения. Что они сделают завтра? Что скажет Элизабет, когда увидит его синяки? Дэнтон не знал, и ему было почти все равно. Внезапно чья-то рука легла ему на плечо.

Он повернулся и увидел своего смуглого врага, который сел рядом на ту же скамью. Дэнтон даже вздрогнул. Нет, разумеется, этот не посмеет его тронуть на улице, перед толпой.

На лице у смуглого уже не оставалось никаких следов драки. Он глядел на Дэнтона без злобы, и даже скорее с уважением.

— Позвольте, — заговорил он, но без всякой грубости.

Дэнтон понял, что новой драки не предвидится.

Он молча ждал, что будет дальше. Смуглый, очевидно, приискивал слова.

— А я бы... сказал... к примеру... так... — выговорил он наконец, потом замолчал — и, явно, подыскивал слова.

— А я бы... сказал... к примеру... так...

И вдруг он оборвал эту тягучую увертюру.

— Моя вина, — воскликнул он и положил свою грязную руку на грязное плечо Дэнтон. — Ей богу, моя! А вы — человек благородный. И мне очень жаль, что так вышло. Вот это я и хотел сказать.

Дэнтон увидел, что этот человек — не только драчун и забияка, но в нем есть и кое-что другое. Он немного подумал и проглотил свою гордость, как нечто совершенно ненужное.

— Ведь я не хотел вас обидеть, — сказал он, — когда не взял вашего хлеба.

— Какая обида? — подхватил смуглый тотчас же. — Ведь я понимаю. Но только вышло это перед Беляком и его подлецами, ну и пришлось пойти в кулаки.

— И я, — заговорил Дэнтон, — я тоже дурак порядочный.

— Ага! — сказал смуглый с видимым удовлетворением, — вот это правильно. Руку!

Они пожали друг другу руки. Платформа промчалась мимо лечебницы личного массажа. Весь нижний этаж по фасаду состоял из зеркал, искусно подобранных так, чтобы вызывать у прохожих желание немедленно исправить черты своего лица.

Дэнтон уловил на-лету два отражения, свое собственное и своего нового друга: оба были искажены, сплюснуты. Лицо Дэнтон мелькнуло было, раздутое, однобокое, в крови. Гримаса неискренней любезности красовалась на этом лице. Волосы были спущены на подбитый глаз. Лицо смуглого товарища как будто состояло из одних только губ и ноздрей. Соединенные руки тянулись между ними, как мост. Это видение мелькнуло и исчезло.

Смуглый все тряс руку Дэнтону и повторял не очень связно, что с благородными людьми он любит и сам по благородному... Зеркало снова передразнило их — и Дэнтон наконец отнял свою руку. Смуглый задумался, потом сплюнул на платформу и вернулся к началу своей речи.

— А я бы сказал... к примеру... так, — повторил он опять, потом замолчал, пристально взглянул на свои сапоги и покачал головой.

Дэнтон заинтересовался.

— Что такое? — спросил он с внимательным видом.

Смуглый наконец собрался с духом, схватил Дэнтон за руку и заговорил с ним уже совсем по-дружески.

— Позвольте, — начал он. — Ежели правду сказать, какой вы боец? И начать-то не знаете. Убьют вас до смерти, пока вы поворотитесь. Руки у вас хуже граблей.

Он энергично выругался и подождал ответа, но ответа не было.

— К примеру сказать, — продолжал смуглый, — руки у вас длинные, рост как следует. И размах у вас такой, что не у каждого есть. Я ведь думал, нарвусь на вас. А вышло такое... По чести, ежели б знать, так я бы и драться не стал. Все равно, что в куль колотишь. Совестно даже. Руки-то у вас, как на вешалке.

Дэнтон выслушал и вдруг расхохотался. Даже закололо в разбитой челюсти и на глазах выступили слезы—горькие слезы...

— Дальше,—сказал он.

Смуглый заговорил дальше.

— Гонору у вас довольно, что говорить. Да только от гонору мало толку, ежели вы не умеете руки, как надо, держать.

— Я бы сказал, к примеру, так. Поучиться бы вам. Я бы вас поучил. Не умеете вы, не видали, как люди делают. А научиться можно, очень даже можно... Раз или два показать. Хотите, а?

Дэнтон колебался.

— Но у меня нечем платить,—заговорил Дэнтон...

— Опять благородство ваше,—проворчал смуглый,—разве я говорил о плате?

— Ваши труды...

— Если вас не научить драться, как надо, так ведь убьют вас,—сказал смуглый.

Дэнтон задумался.

— Я не знаю,—сказал он нерешительно.

Он поглядел в лицо своему собеседнику и почти ужаснулся его грубости. И стало даже как-то неловко от этой новоиспеченной дружбы. Неужели он станет принимать бесплатные услуги от этого подвального медведя?

— У нас постоянная драка,—сказал смуглый.—И знаете, ежели кто разоидется и ударит под ложечку...

— Пусть, один конец,—сказал Дэнтон.

— Ежели так...—медленно заговорил смуглый.

— Вы не понимаете,—сказал Дэнтон с оттенком нетерпения.

— Может, и не понимаю,—сказал смуглый угрюмо и замолчал с обиженным видом.

Через минуту он заговорил прямее и резче, чем прежде.

— Ну,—сказал он,—хотите вы, чтоб я поучил вас, как надо драться? Да, или нет?

— Большое спасибо, сказал Дэнтон,—но только...

Наступило молчание. Смуглый человек встал и нагнулся вперед.

— Благородство ваше паршивое!—сказал он резко.— А я-то лез... Ну, да и вы же дурак!...

Он отвернулся. И Дэнтон внутренне согласился с тем, что его замечание правильно.

Смуглый встал и с видом оскорбленного достоинства перешел через улицу. Дэнтон чуть не бросился за ним вдогонку, но потом передумал и остался на месте. Все происшедшее на некоторое время целиком поглотило его мысли.

В один день вся его благородная система покорности и непротivления—разбилась вдребезги. Грубая сила, конечная основа бытия, показала лицо свое сквозь все изощренные словесные извивы его самоутешений и глядела ему в лицо с загадочной усмешкой. Несмотря на усталость и голод, он не торопился в Рабочую Гостиницу, где его должна была встретить Элизабет. Он должен был думать, должен был все это обдумать, и вот, как бы окутанный чудовищным облаком своих размышлений, он дважды объехал кругом города на подвижной платформе. Вообразите сами, как он, со скоростью пятидесяти миль в час, мчится сквозь город, полный блеска и грохота, а город—и с ним вся планета—несутся в пространстве по бесследной дороге со скоростью нескольких тысяч миль в час. И так он несется в пространстве, и корчится от боли, и старается понять,—зачем его сердце и воля страдают и зачем он живет.

Когда он пришел наконец к Элизабет, она была озабочена и бледна. Дэнтон, может быть, и заметил бы ее состояние, если бы не был так поглощен собственными тревогами. Больше всего он боялся, чтоб Элизабет не стала спрашивать его о подробностях. Она посмотрела на синяки, и брови ее удивленно поднялись вверх.

— Мне досталось,—сказал Дэнтон и тотчас же прибавил.—Только не спрашивай. Слишком больно рассказывать.

Элизабет еще раз взглянула на Дэнтон—и не стала спрашивать: иероглифы, которыми было расписано у Дэнтон все лицо, говорили сами за себя. Губы у Элизабет побелели, она стиснула руки—руки эти так исхудали по сравнению с прежним, концы пальцев были теперь обезображены работой.

— Ужасная жизнь!—только и сказала Элизабет.

В последнее время оба они стали очень молчаливы. В эту ночь они едва ли обменялись единым словом. Каждый думал о своем. До самого рассвета Элизабет не могла уснуть. Вдруг Дэнтон, который лежал рядом с нею, как мертвый, неожиданно вскочил с места и крикнул:

— Я не могу терпеть! Я не стану терпеть!

Он сидел на кровати и яростно размахивал руками, как будто наносил удары в окружающую тьму. Потом снова смолк.

— Это уж чересчур!—сказал Дэнтон.—Столько не стерпит никто.

Элизабет ничего не сказала. Ей тоже казалось, что это чересчур. Оба молчали. В утренней мгле она различала

неясно, что Дэнтон сидит, обхватив колени руками, скорчившись—подбородком он касался колен.

И вдруг он засмеялся.

— Нет,—заговорил он снова,—ведь я стерплю. В этом-то и вся штука. Всей нашей эпохи не хватит на самоубийство. Должно быть, такие люди совсем перевелись. Если доведется—мы терпим до самого конца.

Элизабет согласилась уныло и безмолвно, что все это правда.

— Мы будем терпеть до самого конца... Только подумать обо всех тех, которые терпели... Поколения и поколения мелких тварей, которые только и умели хватать и огрызаться, поколения и поколения без конца.

Элизабет промолчала. После некоторого промежутка Дэнтон начал снова.

— Было девятьсот тысяч лет каменного века. И во всех этих веках был свой Дэнтон. И как у апостолов—один Дэнтон передавал свою силу следующему Дэнтону. Изумительная непрерывность. Минутку—я сейчас сосчитаю. Девятьсот, девятьсот, трижды девять... двадцать семь... три тысячи поколений людей. И каждый сражался, получал раны и позор, и терпел до конца, и жил, и шел вперед. И еще тысячи придут, и пройдут мимо, многие тысячи... Да, пройдут. Но только едва ли скажут спасибо нам, отцам...

— Если бы только узнать что-нибудь определенное, сказать самому себе, вот отчего именно оно так все выходит!

Дэнтон замолчал. Элизабет с трудом рассмотрела в темноте его неясную фигуру, он сидел попрежнему, опустив голову на руки. Элизабет вдруг пришло в голову: до чего они сейчас далеки друг от друга. Две смутные фигуры, чуть выступающие во мраке. Только такими они казались друг другу. О чем он теперь думает? Что скажет сейчас? Целая вечность прошла; наконец он вздохнул и сказал:

— Нет, я не понимаю!..

После того он снова стал ложиться. Элизабет следила за его движениями и с удивлением видела, как старательно он устраивает себе изголовье. Он лег и вздохнул почти с облегчением. Его возбуждение прошло. Он затаил и через две минуты стал дышать громче, глубоко и мерно.

Но Элизабет лежала с открытыми глазами в темноте,—лежала, пока обычный звонок и внезапно усиленный свет не подали знак, что пора вставать для дневной работы.

В этот день случилась новая драка с белобрысым и остролицым. Смуглый Блэнт, испытанный боец, сначала смотрел

равнодушно, но потом вмешался и заговорил покровительственным тоном:

— Отпусти его волосы, слышишь, Беляк? Разве не видишь? Он совсем не понимает, как дерутся порядочные люди.

Голос его заглушили крики негодования.

И тут Дэнтон, лежа на грязном полу, увидел, что в конце концов без уроков все-таки не обойдешься.

Он сразу решил и, поднявшись на ноги, подошел тотчас же к Блэнту.

— Я был дурак, а вы были правы. И если не поздно теперь...

В этот вечер, после обычной работы, они ушли вдвоем в пустынные и грязные подвалы под Лондонским Портом, и там Дэнтон стал знакомиться с основными началами высокого кулачного искусства, которое развилось на широкой арене подвальных этажей. Дэнтон узнал,—куда надо метить и как попадать, чтобы у другого дух захватило, как бить на смерть и как увечить; как драться поясом и как употреблять разную домашнюю утварь; как перехватывать удары и ставить подножки. Словом, все боевые ухищрения, изобретенные простонародьем в двадцатом и двадцать первом веке, открылись Дэнтону во всей своей сложности.

Несообщительность Блэнта теперь исчезла. У него были слова и жесты эксперта, вид снисходительный и почти отеческий. Он относился к Дэнтону с особой деликатностью, время от времени давал ему раз, чтоб поддержать интерес, и когда под конец Дэнтон угодил своему учителю в зубы и окровавил челюсть, тот только рассмеялся беспечно и весело.

— Я, правду сказать, зубов не берегу,—признал он в себе эту слабость.—И по моему нету худого по зубам получить, ежели челюсти крепкие. А кровью помазаться малость—это мне даже нравится. Но только на этот раз, пожалуй, довольно...

Дэнтон, вернувшись домой, заснул от усталости, но потом, так же, как это было и вчера, на рассвете проснулся. Тело его ныло, ушибы горели.—Да стоит ли продолжать эту жизнь,—думалось ему. Он прислушался к дыханию Элизабет, но потом вспомнил, как он разбудил ее в предшествовавшую ночь и старался лежать тихо. Его переполняло несказанное отвращение ко всей обстановке его новой жизни. Он ненавидел ее всю, ненавидел даже того благородного дикаря, который оказал ему такое бескорыстное покровительство. Чудовищная ложь цивилизации раскрылась пред его глазами во всей наготу, она представилась ему каким-то странным растением, порождающим внизу бесконечное варварство и дикость, а сверху—непрочное изящество и бес-

мысленную расточительность. Он не видел никакого оправдания, никакого признака чести и разума во всей своей предшествующей жизни или в той новой жизни, которая началась теперь. Цивилизация предстала перед ним, как какая-то стихийная катастрофа, в роде циклона или столкновения планет. Люди имели к ней отношение только, как жертвы. Он сам и, стало быть, все человечество, жили совершенно напрасно. Он стал перебирать в уме возможные выходы, даже самые несбыточные, если не для себя, то хотя бы для Элизабет. Но думал он о себе, а не об Элизабет. Что, если он разыщет Мориса и расскажет ему о постигших их бедствиях? Он подивился мимоходом, как далеко Морис и Биндон отошли от круга его жизни. Где они? Что с ними? Горькие мысли заронились в нем. И потом наконец — не то, чтобы возникнув из этой душевной тревоги, а скорее разгоняя ее, как рассвет разгоняет тьму, — пришло заключение наглядное и ясное: он должен пройти сквозь все это. Не взирая ни на что, он должен вооружиться всей силою своего духа, всей своей энергией, должен встать в ряды и биться, как подобает мужчине.

Второй вечер учиться было легче, а в третий — Блэнт раз или два сказал: „ловко!“, и Дэнтон почувствовал себя польщенным. На четвертый день Дэнтон стал думать, что остролицый в сущности трус.

После того прошло две недели: тусклая работа днем — и лихорадочные уроки по вечерам. Блэнт божился, что никогда не встречал такого способного ученика, и каждую ночь Дэнтону до самого утра снились удары, затрещины, подножки и всякие другие боевые хитрости. Все это время никто его не трогал из страха перед Блэнтом. Потом наступил новый, решительный день. Блэнт не пришел на работу, — с умыслом, как оказалось потом, по его собственным словам, — и с самого утра Беляк с возрастающим нетерпением ждал обеденного перерыва. Он ничего не знал о вечерних уроках и громко хвалился, что на этот раз он угостит Дэнтона по настоящему.

Беляка не особенно любили, и после перерыва рабочие сошлись глядеть на бой — как будто без особого интереса. Однако с первой схваткой их настроение оживилось. Беляк попытался ударить Дэнтона в лицо, но Дэнтон искусно отбил удар и в свою очередь сделал выпад, схватил и дернул. Беляк не устоял на месте, и в результате его голова попала в ту же кучу золы, которая когда-то запачкала голову Дэнтона. Беляк вскочил на ноги, лицо его от злости было блее обыкновенного. Он крепко выругался и снова бросился на Дэнтона. Последовали две-три нерешительные

схватки. Смущение Беляка, очевидно, усиливалось, и наконец наступила развязка: Беляк лежал на полу, а Дэнтон давил ему коленом грудь и душил его руками за горло. У Беляка выступили слезы на глазах, лицо почернело; один палец у него был сломан. Он хриплым, задыхающимся голосом стал просить пощады. И Дэнтон сразу приобрел небывалую популярность. Он отпустил побежденного врага и встал на ноги. Кровь в нем кипела, как жидкий огонь, во всем теле у него как будто переливалась сверхъестественная сила. Он уже больше не чувствовал себя рабом машинного труда. Он был человек и сумел завоевать себе место на свете.

Остролицый первым подошел к Дэнтону и похлопал его по плечу. Человек с маслом сиял, как солнце, и рассыпался в поздравлениях. Дэнтон вспомнил о своей недавней заброшенности, — теперь это казалось так далеко и невероятно.

В эту ночь, сидя на постели, он старался изложить Элизабет свою новую точку зрения.

— Мы пробьемся, — говорил он убежденно.

Одна сторона его лица была вся в ссадинах. Элизабет молчала. Ей не пришлось одержать победу в драке, и никто ее не хлопал по плечу, и на лице у нее не было ссадин, — была только угрюмая бледность и две новые складки по углам рта. Элизабет пристально смотрела на Дэнтона, изрекавшего пророчества.

Дэнтон говорил:

— Я чувствую, что есть одно непрерывное целое, неумиряющая жизнь, в которой мы существуем и движемся. Она началась в прошлом, пятьдесят или сто миллионов лет тому назад, и идет все дальше, растет, развивается. И когда нас не будет — тогда найдется оправдание для всего настоящего. Объяснение и оправдание для этих ссадин, и для моей драки, и для всех наших страданий. Это резец, да, это резец создателя. Если бы мне только удалось передать тебе мое чувство! Но ты сама почувствуешь, я знаю это, знаю.

— Нет, — сказала она тихо, — я не почувствую.

— Я думал...

Она покачала головой.

— Я тоже думала... Твои слова не убеждают меня.

Она твердо посмотрела в лицо Дэнтону.

— Мне это противно, — сказала она, тяжело дыша. — Ты не думаешь, ты не понимаешь. Было время: ты говорил — и я тебе верила. Но теперь я стала умнее. Ты, мужчина, можешь драться с другими, пробивать себе дорогу. Ты можешь быть груб, безобразен. Синяки тебе не страшны.

Это прибавляет тебе силы. Ты—мужчина... А мы, женщины—иные. Наши чувства смягчились слишком рано. Мы не годимся для этой подвальной жизни.

Она помолчала и начала снова:

— Эта ужасная синяя холстина. Я ненавижу ее, кажется, сильнее, чем смерть. Она царапает мне пальцы, обдирает мне кожу... А женщины, которые работают рядом со мною... Я не сплю по ночам и думаю, что скоро, должно быть, стану похожа на них.

Она остановилась.

— Я и теперь похожа на них,—воскликнула она страстно. Дэнтон смотрел на нее широко раскрытыми глазами.

— Однако...—начал он и запнулся.

— Ты не понимаешь. Что мне осталось? Какое прибежище? Ты можешь драться. Драка—мужское дело. Но женщина... женщина—дело другое. Я думаю об этом ночью и днем. Посмотри на мое лицо. Оно бледнеет и вянет. Я не в силах терпеть, я не могу выносить этой жизни.

Она остановилась в минутном колебании.

— Ты знаешь не все,—сказала она вдруг, и на губах у ней мелькнула горькая улыбка.—Меня уговаривают уйти от тебя.

— Уйти от меня?

Она только кивнула головою в ответ.

Дэнтон вскочил с места. Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова.

Потом Элизабет повернулась и бросилась лицом на убогую постель: она не рыдала, у ней не вырывалось ни единого стога. Только молча лежала ничком на постели. Прошла длинная, томительная пауза, потом плечи у Элизабет стали вздрагивать: она плакала.

— Элизабет,—шепнул Дэнтон.—Элизабет!

Он тихонько присел рядом, нагнулся и с нерешительной лаской обнял ее рукою.

— Элизабет,—шепнул он ей на ухо.

Элизабет оттолкнула его резким движением.

— Я не хочу,—сказала она.—Новый ребенок будет новым рабом.—И разразилась громким и жалобным плачем.

Дэнтон побледнел, губы у него задрожали. Он соскочил с постели. На лице у него уже не было прежней самоуверенности: самоуверенность сменилась бессильным гневом. Он стал бесноваться и проклинать слепые силы, которые угнетали их, проклинать все случайности, и страсти, и безрассудства людской жизни. Его жалкий голос наполнял эту жалкую комнату: он потрясал кулаками, он—ничтожная инфу-

зория—он смел грозить. Он грозил всему, что было кругом, прошедшему и будущему, миллионам человечества и всей бездушной громаде исполинского города.

V

БИНДОН ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

В юности своей Биндон занимался игрою на бирже и три раза выигрывал крупные суммы. После того у него хватило благоразумия, отказаться от игры, и потому он имел некоторое право считать себя очень умным человеком. Постепенно он приобрел довольно большое влияние в некоторых деловых сферах огромного города и под конец сделался одним из главных акционеров Общества Лондонских Летательных Станций, владевшего платформами, куда приставали аэропланы со всего света. Такова была общественная роль Биндона. В частной жизни он был эпикурейцем. И дальнейший рассказ есть история его сердца.

Однако, прежде чем спуститься в такие глубины, нужно хоть в кратких словах описать внешность этой значительной персоны. Он был тщедушный, низенький, со смуглым лицом. На лице и на голове у него не оставалось ни волоска, согласно гигиенической моде нового времени. Зато его головные уборы менялись постоянно вместе с костюмом, а костюм он менял очень часто.

Иногда он облакал свою важную особу в пневматическое резиновое платье стиля рококо, надевал на голову прозрачный, самосветящийся колпачок—и ревниво следил за тем, чтобы люди, не так пышно одетые, оказывали ему, Биндону, должное почтение.

Потом, в виде контраста, он обтягивал свое тощее тело черным сверкающим атласом; чтобы плечи казались шире и получался вид более важный, он надевал подниз пневматическую куртку, а сверху набрасывал мантию из китайского шелка, с тщательно заглаженными складками. И наконец, являлся в классическом своем виде—в обтянутых розовых панталонах—и блестящим феноменом проносился на сцене вечного театра судьбы.

В те дни, когда он ухаживал за Элизабет, он, чтобы прибавить себе молоджавости, охотно надевал костюм модного щеголя,—из эластической ткани с какими-то отростками и странными рогами. Эти отростки светились изнутри и переливались, как радуга.

И нет никакого сомнения, что если бы Элизабет имела не столь старомодный вкус и меньше увлекалась этим шелопаем Дэнтоном,—этот умопомрачительный шик Биндона мог бы прельстить ее.

Биндон посоветовался с отцом Элизабет прежде, чем явиться перед ней в своем франтовском костюме, и Морис сказал, что для женского сердца лучше такого костюма не может быть ничего. Однако последующие факты показали, что он знал женское сердце не очень-то хорошо.

Мысль о женитьбе пришла Биндону в голову еще до первой встречи с прекрасною Элизабет. Биндон был всегда убежден, что в сущности он рожден для чистой любви и целомудренной жизни вдвоем.

Именно эта идея давала особый патетически-серьезный оттенок его кутежам и распутству; по существу своему кутежи эти довольно пошлы, хотя друзья его и он сам были склонны рассматривать их, как проявление бурного темперамента.

От беспорядочной жизни, а также, быть может, под влиянием наследственности—у Биндона началась серьезная болезнь печени, и, между прочим, воздушные поездки стали для него почти невозможными. Именно во время лечения, после одного неприятного желчного припадка, ему и пришлось на ум, что, если бы он встретил красивую, нежную, добрую молодую девушку, с преданным сердцем и без особой склонности к умствованиям, она могла бы спасти его от порока и вернуть на путь добродетели, и даже больше: даровать ему потомство в виде утешения старости.

Но, как многие всеведущие светские люди, он сомневался, есть ли на свете такие девушки. Когда ему говорили о них, он вслух выражал недоверие, а втайне—побаивался.

Однако, когда честолюбивый Морис познакомил Биндона с Элизабет, Биндон был совершенно очарован. Он влюбился в нее с первого взгляда. Положим, начиная с шестнадцати лет, он влюблялся постоянно, и на всевозможные лады, подражая различным литературным примерам из лучших романов целого ряда столетий. Но теперь это была иная любовь, настоящая. Биндону казалось, что эта любовь пробуждает в его душе лучшие чувства. Он был готов пожертвовать ради этой девушки всем своим прошлым, тем более, что оно привело его только к разлитию желчи и к расстройству нервной системы. Он уже рисовал себе идиллические картины обновленной жизни.

А пока что он ухаживал за Элизабет с большим искусством и тонкостью. Сдержанность Элизабет он принимал

за изящную скромность, ее молчаливость—за очаровательное отсутствие обременительных идей.

Биндон ничего не знал об ее нелепом увлечении и не имел понятия о маленькой попытке Мориса исправить это увлечение посредством гипнотизма. Биндон был убежден, что у него с Элизабет отношения—лучше каких и желать нечего, и он только старался укрепить в Элизабет эту предпологаемую ее благосклонность маленькими подарками, бра-слетами, духами. И тут вдруг, как снег на голову, свалилось ее неожиданное бегство вместе с юным Дэнтоном.

Биндон пришел в страшную ярость: его тщеславие было жестоко уязвлено. И за неимением другого объекта, первый порыв злобы излил на покинутого дочерью Мориса.

Прежде всего Биндон ворвался к нему в приемную и осыпал его оскорблениями; потом стал ездить из конторы в контору, разыскивая разных влиятельных людей и стараясь подорвать кредит своего неудавшегося тестя; в таком направлении Биндон весьма энергично трудился целый день успев сделать довольно много. Это принесло ему облегчение, и он отправился в ресторан, где не раз, в дни своей юности, проводил время самым развеселым образом. Тут Биндон очень основательно пообедал и выпил—в обществе двух других столь же изящных сорокалетних юношей. Довольно с него хлопот! Ни одна женщина этого не стоит!

И он даже сам изумился потоку своего цинического остро-словия. Один из собутыльников Биндона, подогретый вином, делал довольно прозрачные намеки насчет любовных разочарований Биндона, но даже и это не испортило ему настроения.

Когда он проснулся на следующее утро—в печени жгло, в душе горел гнев. Биндон разбил вдребезги свою говорящую газету, прогнал лакея и замыслил жестокое мщение против Элизабет. И также против Дэнтона. Самое жестокое мщение... Чтобы никто не сказал, что он был покорною игрушкой в руках легкомысленной девчонки...

Он вспомнил, что у Элизабет есть маленькое состояние, и тотчас же подумал, что, пока отец Элизабет не переложит гнев на милость, это состояние является единственным источником существования для юной четы. Стало быть, если отец не смягчится и если удастся понизить доходы и ценность того предприятия, в которое вложено наследство Элизабет, то Дэнтону и его супруге придется круто. Тогда, быть может, удастся пустить в ход соблазн. Биндон уже отказался от своего недавнего идеализма и думал о том, как

соблазнить Элизабет,—пусть это будет даже безнравственно, все равно.

Он рисовал себе картину, как он, богатый, всемогущий, неумолимо преследует жестоким мщением девушку, которая его отвергла. И вдруг вся ее фигура воскресла в его памяти, живая и яркая, и первый раз в своей жизни Биндон затрепетал в припадке истинной страсти. Фантазия теперь уже стояла в сторонке, как почтительный лакей, сделавший свое дело: фантазия открыла дверь чувству.

— Клянусь богом,—воскликнул Биндон—она будет моей, живая или мертвая. Или я буду мертв. А этот молодчик...

Он пригласил своего врача и в виде искупления за вчерашний ужин принял дозу лекарства, довольно горького. Потом, слегка успокоившись, но с той же решимостью, он отправился к Морису. Морис чувствовал себя окончательно погибшим, униженным, разоренным. Сейчас в нем говорило только чувство самосохранения, и для того, чтобы вернуть себе состояние, он готов был принести в жертву не только остаток любви к своей непокорной дочери, но даже собственное тело и душу. Скоро Морис и Биндон помирились и решили действовать так, чтобы своевольная чета возможно скорее впала в нищету. Биндон рассчитывал пустить в ход свое финансовое влияние, чтобы по возможности ускорить эту спасительную перемену.

— А потом?—спросил Морис.

— Потом они попадут в Рабочую Команду,—сказал Биндон,—наденут синюю холстину.

— А потом?

— Потом они разведутся,—сказал Биндон. Теперь прежняя трудность развода давно смягчилась, и брачные пары могли разводиться по сотне различных причин и поводов.

— Да, они разведутся... Я их заставлю—я это устрою. Клянусь богом—это будет! Ей ничего не останется больше. А того, другого, я растопчу, уничтожу, сравню с землей...

Мысль о том, как он сравнивает с землей Дэнтон, пришло Биндону. Он даже забегал по комнате взад и вперед.

— Она будет моей. Ни бог, ни сатана не избавит ее от меня!—кричал Биндон.

Тут вдруг страсти в нем остыли—самым трагикомическим образом: у Биндона жестоко заболело под ложечкой. Он вытянулся и героически решил не обращать никакого внимания на эту боль.

Морис молча слушал: его пневматическая шапочка осела, как проколотый пузырь...

Так случилось, что Биндон начал упорно работать над разорением Элизабет. Он пустил в ход все свое искусство и все влияние, каким в те дни обладали богатые люди. Ни совесть, ни религия ему нисколько не мешали. Время от времени он посещал очень знающего, очень интересного и милого священника гюисманитской секты модного культа Изиды и исповедывался ему, изображая свои мелкие делишки в виде величественного порока, в виде борьбы против небесных сил. Очень знающий, симпатичный и милый священнослужитель, представляя собой небесные силы, выражал скромное удивление и почтительный ужас, налагал на Биндона легкую и удобную эпитимию и советовал грешнику уединение в чистом, изящном, гигиеническом монастыре, очень удобном для грешников с хорошими средствами и с плохой печенью.

Из этих маленьких экскурсий Биндон возвращался обратно в Лондон с обновленной страстью и энергией. Он подводил свои мины с удвоенным старанием и целыми днями сидел в одной галерее над городскими путями в том квартале, где жила Элизабет. Из этой галереи был виден вход в бараки Рабочей Команды. И наконец, в одно прекрасное утро Биндон увидел, как этот вход открылся перед Элизабет.

Первая часть его замысла осуществилась, и он мог теперь посетить Мориса и сообщить ему, что молодые люди дошли до самого худшего.

— Теперь ваша очередь,—сказал он,—вы можете дать волю вашему родительскому сердцу. Она ходит в синей холстине, и они живут в конуре, а ребенок их умер. Теперь она видит наглядно, какие радости принес ей этот господин,—бедная девушка! Теперь она все видит уже в настоящем свете. Вам надо посетить ее и очень осторожно, не упоминая совсем обо мне, заговорить о разводе.

— У нее упрямый нрав,—сказал Морис неуверенным тоном.

— Это такая душа!—воскликнул Биндон.—Это удивительная девушка, удивительная девушка!

— Но ведь она откажется.

— Пускай откажется. Вы даже не налегайте особенно. Только подайте ей первую мысль. Потом, в этой норе—жизнь такая трудная, нерадостная, когда-нибудь настанет день, и завяжется ссора... И тогда...

Морис подумал и решил исполнить совет.

После того Биндон, по совету своего духовника, на время уединился. Он поселился в монастыре гюисманитской секты. Монастырь помещался в одной из верхних этажей. Тут был

очень чистый воздух, и освещение было не искусственное, как внизу: здесь светило солнце; были даже лужайки зеленой травы под открытым небом, и вообще все удобства для отдыха и созерцания. Вместе с прочими обитателями монастыря, Биндон принимал участие в простой и здоровой трапезе, присутствовал на песнопениях в храме, а в остальное время был предоставлен самому себе. Он проводил дни в размышлениях об Элизабет; о том, как очистилась его душа после знакомства с ней; о том, какие условия поставит отец гюисманит, прежде, чем дать разрешение на брак с разводкой и грешницей.

Биндон прислонился спиной к одной из колонн храма и погружался в мечты о превосходстве высокой любви сравнительно с чувственностью. Он ощущал странное колотье в груди и в спине, чувствовал жар и озноб, общее недомогание и тяжесть, но старался не обращать внимания на эти мелочи. Все это были, конечно, только отзвуки прежней жизни, которую он решил оставить раз навсегда.

Выйдя из монастыря, Биндон тотчас же направился к Морису: хотелось скорей узнать что-нибудь о Элизабет. Морис был настроен сентиментально и склонен был рассматривать себя, как примерного отца, сердце которого глубоко тронuto страданиями дочери.

— Как она побледнела, говорил он взволнованно, как побледнела!—И когда я заклинал ее покинуть того и уйти, к новому счастью, она уронила голову на руки,—здесь голос Мориса дрогнул,—и заплакала.

Он был так взволнован, что не мог говорить больше.

— Ах! — воскликнул Биндон, склоняясь перед этим трогательным горем.

— Ой! — тотчас же закричал он совсем другим тоном, хватаясь рукою за бок.

Морис быстро выпрыгнул из бездны своего горя.

— Что с вами? — спросил он участливо Биндона.

— Колики, — сказал Биндон. — Простите, пожалуйста. Вы говорили о Элизабет.

Морис еще раз выразил соболезнование, потом продолжал свой рассказ. У него были теперь надежды на успех. Элизабет, тронутая тем, что отец не отрекся от нее, говорила с ним откровенно о своих огорчениях.

— Да, — сказал Биндон уверенно. — Она еще будет моею.

И тотчас же, как будто нарочно, опять закололо в бок. Против этих телесных страданий священник гюисманитской секты оказался бессильным. Он был слишком склонен рассматривать тело и телесную боль, как иллюзии, и попрежнему

прописывал Биндону созерцательную жизнь. Биндону пришлось обратиться к одному из тех людей, кого он ненавидел от всего сердца, а именно к известному врачу, очень знающему и еще более бесцеремонному.

— Дайте-ка осмотреть вас, — сказал врач и тотчас же исполнил это с отвратительной добросовестностью.

— Есть у вас дети? — спросил между прочим этот грубый материалист.

— Сколько я знаю, нет, — ответил Биндон; он был слишком изумлен, чтобы охранять свое достоинство от подобных вопросов.

— Ага!.. — проворчал врач и снова начал свое выстукивание и выслушивание. В то время медицина уже приобретала научную точность.

— Вам лучше всего не мешкать, — сказал врач, — и тотчас же сделать заказ на Легкую Смерть. Чем скорее, тем лучше.

Биндон даже подскочил.

Врач стал объяснять более подробно, прерывая свою речь техническими терминами, но Биндон не хотел понимать.

— Как же это? — повторял он растерянно. — Вы хотите сказать... Ваше искусство...

— Нет, — возразил врач решительно. — Ничего нельзя сделать. Разве прописать успокоительное. Вы, знаете, должны винить себя самого.

— У меня в молодости было много искушений, — признался Биндон.

— Не в том суть, — сказал доктор. — Вы, явно — отпрыск от худого корня. Даже при всей осторожности, вам было не миновать неприятностей. Вам и родиться не следовало. Знаете, родительский грех. Вы же, вдобавок, вели нездоровую жизнь.

— Никто мне не указывал...

— А разве не было врачей?

— В молодости у меня был такой темперамент...

Доктор поморщился.

— Не будем спорить. Все равно, не к чему. Время ваше прошло. Жизни вам не начать сначала. Да лучше было и не начинать. По чистой совести — Легкая Смерть, вот что вам осталось сделать.

Биндон слушал доктора молча. Каждое слово этого грубого эскулапа задевало его утонченные чувства. Этот толстокожий грубиян, можно сказать, ногами попирает духовную сторону жизни.

Однако ссориться с врачами не имеет никакого смысла.

— Мои религиозные взгляды, — сказал Биндон, — не допускают самоубийства.

— Вся ваша жизнь была самоубийством, — возразил врач.

— Теперь я решил серьезнее смотреть на жизнь, — неуверенно сказал Биндон.

— Да, надо бы, если хотите жить — сказал врач. — Не то вы развалитесь. Впрочем, правду сказать, теперь уж поздно. Однако, если угодно, я пропишу вам микстуру. Вам круто придется. Это покаяние...

— Вы это называете покаянием!

— Ну да, это еще только цветочки.

— Как долго мне еще осталось, — сказал Биндон, — до того. — как...

Доктор покачал головой.

— Недолго. Пожалуй, дня три.

Биндон стал спорить и настаивать на удлинении этого срока, но в самом разгаре спора вдруг побледнел и опять ухватился рукою за бок. Неожиданно весь трагизм его положения стал ему совершенно ясен.

— Это жестоко. Это невероятно жестоко, — сказал он. — Я никому не вредил, только разве себе самому. Я не обидел ни одного человека.

Доктор посмотрел на него без всякого сочувствия. Он думал: как хорошо, что у него в приемной не сидит больше таких вот, трагических, Биндонов. Он даже слегка усмехнулся, потом позвонил в телефон и стал заказывать рецепт в Центральной Аптеке.

Его прервал внезапный крик, раздавшийся у него за спиной. Это кричал Биндон.

— Нет, — воскликнул он, стискивая зубы. — Ни за что. Она еще будет моей.

Доктор через плечо заглянул в лицо Биндону и изменил рецепт.

Вернувшись домой, Биндон дал волю своему бешенству. Он сразу решил, что доктор был, во-первых, грубая скотина и неблаговоспитанная тварь, а во-вторых — полный невежда в собственном деле. За подтверждением этого взгляда он обратился к другим специалистам того же рода. Впрочем, на всякий случай, он сохранил лекарство, прописанное первым врачом.

Каждому новому врачу Биндон прежде всего излагал свои сомнения относительно познаний и профессиональной честности своего первого советчика и потом переходил к симптомам болезни, стараясь скрыть или смягчить наиболее сомнительные. Впрочем, врачи всегда добивались до истины.

Они охотно принимали злословие по адресу соперника, но все-таки ни один из этих компетентных специалистов не подал Биндону надежды на избежание грозившей участи.

Перед последним из них Биндон дал волю своему негодованию против медицины вообще.

— Как! — воскликнул он с жаром. — Столько веков прошло, и вы ничему не научились, только умеете говорить о собственном бессилии? Я прихожу к вам и говорю: „спасите меня!“, а вы плечами пожимаете в ответ...

— Конечно, это неприятно, — согласился доктор. — Но ведь вы сами не береглись.

— Никто мне не говорил.

— Это не наше дело — нянчиться с вами, — проворчал доктор. И почему это мы должны спасти именно вас? Видите ли, с нашей точки зрения люди с такими страстями, как вы, должны выйти из строя.

— Как, выйти из строя?..

— Ну, да, умереть. Это закон.

Лицо у него было молодое, ясное. Он улыбнулся, глядя на Биндона.

— Мы, знаете, продолжаем наши изыскания. И даем советы тем, кто имеет довольно ума, чтоб слушать. И ждем своего времени...

— Ждете времени?

— Ну, да, ждем. Мы еще не готовы, чтобы принять в свои руки управление.

— Что такое?

— Не волнуйтесь, пожалуйста! Наука еще не созрела. Ей надо расти еще не одно поколение. Мы знаем теперь, как мало мы знаем. Но время все-таки движется. Вам-то уж не придется увидеть. Но, между нами говоря, ваши богачи и политики, с их свободной конкуренцией и патриотизмом, и религией, натворили такую путаницу... Подумайте только об этих подвалах и о других вещах... Иные из нас полагают, что в свое время мы сумеем устроить так, что там будет больше света и воздуха. Наука, знаете, растет и зреет понемногу. И торопиться не к чему. Настанет когда-нибудь время, и люди будут жить иначе, чем теперь.

Он пристально посмотрел на Биндона и прибавил.

— Многим придется убраться на тот свет до этого времени...

Биндон сделал попытку указать этому молодому человеку, как неприлично такими речами пугать пациента и как это невежливо, и даже дерзко, по отношению именно к нему, Биндону, человеку почтенному и занимающему видное общественное положение. Он несколько раз говорил, что доктор

за свои услуги получает плату, — он особенно подчеркнул слово плату, — и потому даже права не имеет отвлекаться в сторону и обращать свое внимание на всякие такие вопросы.

— Но мы обращаем, — возразил молодой человек уверенным тоном. И Биндон в результате окончательно вышел из терпения.

Вне себя от гнева, он решил покончить с докторами и отправился домой.

Чтоб эти неспособные шарлатаны, которые даже не могут спасти жизнь такому человеку, как он, Биндон, — смели еще мечтать отнять социальный контроль у законных собственников и навязать всему свету какую-то бессмысленную тиранию!.. Будь проклята наука!.. Он продолжал злиться еще несколько времени, пока опять не заболело в боку. К счастью, он вспомнил о готовом лекарстве, полученном от первого врача: лекарство это лежало в кармане у Биндона — и он немедленно принял первую дозу.

Лекарство успокоило его и рассеяло гнев. И он уселся в самое удобное кресло своей библиотеки (фонографических цилиндров) и стал размышлять; но теперь он уже по иному смотрел на мир. Негодование исчезло, злость растаяла, — это уже понемногу действовало принятое лекарство. В душе его остались только сентиментальные чувства. Он поглядел кругом на все изящное и великолепное убранство, на стройные статуи и скромно завешенные картины, на все эти принадлежности утонченного и элегантного порока. Он надавил кнопку, и грустная мелодия пастушеской свирели из „Тристана“ заплакала в пространстве.

Глаза его переходили от одного украшения к другому. Все они были дороги, яркие, крикливы. Они представляли осуществление его идеала, телесное воплощение его чувства красоты и ценности жизни. И теперь он должен расстаться с ними. Он чувствовал в себе тонкое и нежное пламя, которое уже догорало. Так догорает и гаснет на свете всякое пламя. И при этой мысли его глаза наполнились слезами.

Тогда он стал думать о своем одиночестве. Никто его не любит, никому он не нужен. Каждую минуту может вернуться боль. Он будет надрываться от крика — и все же ни одна душа его не пожалеет. По словам докторов, дня через два ему придется совсем скверно — но кому до этого дело?

Он вспомнил заодно речи своего духовного отца — о развращении века и об упадке любви. В своей собственной судьбе он видел прямое подтверждение этой трагической истины. Такой человек, как он, утонченный, изящный, смелый, цинический, стройный Биндон будет содрогаться от боли, и

ни один человек на свете не содрогнется вместе с ним. При нем нет ни одной простой и верной души, и свирели пастушеской нет, чтобы заплакать над ним.

Или же все эти души, простые и верные, исчезли с суровой, назойливо-жадной земли? Он спрашивал себя, знают ли эти вульгарные твари, толпами снующие взад и вперед по городским переходам, — знают ли они, что он, Биндон, думает о них? Если бы они знали, кто-нибудь, быть может, попытался бы, — наверно попытался бы, — заслужить отношение получше! Мир, без сомнения, становится хуже и хуже. Он стал невозможен для Биндонов. Но когда-нибудь впоследствии...

Ведь единственное, в чем он за всю свою жизнь нуждался, это было сочувствие. Он пожалел на минуту о том, что он не оставил сонетов, очерков загадочно-прекрасных или чего-нибудь еще, в чем бы могло продолжаться его бытие, пока наконец не отыщется родственный дух.

Но неужели все-таки приходит уничтожение? Но его изящная вера давала на этот счет только несколько громких слов и кудрявых метафор. Будь проклята наука! Она подкапала всякую веру и всякую надежду. Итак, надо уйти, покинуть клуб и театр, дела, и обед, и вино, и очарование женских глаз. И никто даже не заметит. Покинуть весь этот прекрасный мир!

Кто виноват в этой общей безучастности? Быть может сам он своими резкими манерами оттолкнул чужое участие? Немногие знали, какая тонкая душа таится под этой веселой и цинической маской. Они даже не поймут, что они потеряли. Элизабет, например, — она даже не подозревает...

Он остановился!.. Мысли его сосредоточились на Элизабет, и как мало Элизабет понимала его душу!

Думать об этом было невыносимо. Он должен это исправить во что бы то ни стало. Он увидел, что еще одно дело осталось для него на свете; его борьба за Элизабет еще не окончена. Он не может победить и завладеть ею, как он мечтал, но он может запечатлеть свой образ в ее душе...

Мысль эта его увлекла. Он запечатлеет в ее душе свой образ и пробудит в ней угрызение за прошлую измену. Надо, чтобы она воочию увидела его великодушие. Ибо он любил ее без всякой корысти — из самой глубины своего великого сердца. Он завещает ей все свое имущество. Пусть она всегда размышляет о его доброте и благородстве, окруженная комфортом, дарованным его рукою, пусть раскаивается без конца в своей прошлой холодности. И если она захочет дать

исход этому новому чувству, она наткнется на закрытую дверь, на вечное молчание, на бледное, мертвое лицо...

Он даже закрыл глаза и с минуту старался вообразить себя самого с бледным и мертвым лицом.

Он стал обдумывать подробности своего решения, думал лениво, ибо лекарство продолжало свою работу, и он все больше впадал в меланхолию, почти в летаргию. Он оставит Элизабет все, что имеет, но только этот кабинет со всей обстановкой лучше выделить,—лучше по многим причинам. Кому же завещать кабинет? Сонные мысли Биндона долго боролись с этим вопросом.

Под конец он решил оставить свой кабинет этому симпатичному представителю модной религии, с которым всегда так приятно было беседовать.

— Он поймет,—подумал Биндон с чувствительным вздохом.—Он знает красоты Зла и смелые соблазны Сфинкса Пороков. Он поймет и оценит, как я.

Этими пышными эпитетами Биндону было угодно обозначить известные отклонения от нормальных отправлений природы, столь же непристойные, сколь и вредные для здоровья. К этим отклонениям его привели дурно направленное тщеславие и несдержанное любопытство. Некоторое время он сидел, размышляя о том, как много в душе его было от эллинов, и от Нерона, и от итальянского ренессанса и так далее. Вот даже и теперь—не попробовать ли все-таки написать сонет? Оставить свой голос векам, как отклик, возникший из бездны, чувственный, зловещий и унылый... На время он забыл про Элизабет. Но в течение получаса он испортил три фонографических цилиндра, получил головную боль и, приняв новую дозу успокоительного, вернулся к великодушию и к своим первоначальным намерениям. В конце концов ему пришлось припомнить о Дэнтоне. Понадобилось все напряжение его новоявленного благородства, чтобы помириться с Дэнтоном. Но в конце концов этот великий, непонятый миром страдалец с помощью мягчительного лекарства и мысли о смерти проглотил также эту последнюю пилюлю.

Если он сделает оговорку относительно Дэнтона, если выкажет хоть малейшее недоверие, Элизабет поймет это неправильно. Пусть же она остается при этом Дэнтоне. Его великое сердце примет и эту последнюю горечь. Он не будет думать о Дэнтоне. Он будет думать только об Элизабет.

Он встал со вздохом и подошел к телефону, чтоб вызвать своего нотариуса. Через десять минут завещание, составленное по всей форме и даже скрепленное свежим отпечатком

большого пальца Биндона, лежало под замком у нотариуса, за три мили от этого уютного кабинета.

После того с минуту, или две, Биндон просидел молча и не шевелясь. Вдруг он вздрогнул и тотчас же приложил руку к больному боку. Затем он быстро вскочил и бросился к телефону. Общество Легкой Смерти редко получало от клиента такой поспешный заказ...

И таким образом вышло, что Дэнтон и его Элизабет, сверх всякого ожидания, вышли, не разлучившись, из той рабской неволи, в которую они впали. Элизабет стряхнула с себя вместе с синей ливреей самую память рабочего подвала и нищенской спальни в казенном дортуаре,—как стряхивают кошмар. Судьба дала им вернуться обратно к солнцу и свету. Как только им сделалось известно о завещании, самая мысль провести еще один день в этом унижении стала нестерпимой. Они тотчас же вернулись, по бесконечным лифтам и лестницам, в те этажи, откуда их изгнало разорение. В первые дни чувство избавления затмевало все. Даже думать о жизни в подвалах было невозможно. Много месяцев прошло, пока Элизабет избавилась от этого чувства и стала вспоминать с унылой жалостью тех униженных женщин, которые все так же томились внизу, утешаясь сплетнями и воспоминаниями о прежних безумствах и выколачивая на утомительной работе свою последнюю силу.

Даже в выборе новой квартиры Дэнтонов сказало это жгучее чувство освобождения. Они выбрали комнаты на самом краю города. У них было место на кровле и балкон на городской стене, широко открытый солнцу и ветру, с видом на небо и поле.

И на этом балконе происходит последняя сцена нашего рассказа. Солнце садилось, и голубые Сэррейские холмы четко выступали вдаль. Дэнтон стоял на балконе и смотрел вперед, а Элизабет сидела рядом с ним. С балкона открывался очень широкий вид: балкон висел на высоте пятисот футов над землей.

Квадратные поля Пищевой Компании, усеянные там и сям развалинами бывших пригородов, прорезанные вдоль и поперек блестящими полосами удобрительных каналов,—вдали, у подошвы холмов, стирались и сливались. Там некогда было становище детей Уйи. Теперь на синих холмах высокие машины лениво ворочались, кончая рабочий день, и на вершине холмов стояли рядами огромные турбины. По южной идамитовой дороге быстро приближались экипажи на высоких колесах: это полевые рабочие Пищевой Компании, покончив дневную работу, возвращались в город,

на ужин и ночлег. В воздухе парили и спускались вниз маленькие частные аэропилы. Вся эта картина, столь привычная взору Дэнтон и Элизабет, конечно, наполнила бы душу какого-нибудь из их предков безграничным изумлением. Мысли Дэнтон устремились к будущему в тщетной попытке представить себе эту же самую местность еще через двести лет и тотчас же бессильно вернулись назад, к прошлому. У него было довольно исторических знаний. Он мог представить себе покрытый копотью город эпохи Виктории с узкими улицами, плохо обстроенными предместьями и широкими полями; жалкие деревни и крохотный Лондон эпохи Стюартов; Англию первых монастырей, и еще более древнюю эпоху римского владычества, и наконец—дикую равнину, кое-где усеянную хижинами воинственных племен. Много веков эти хижины возникали и снова исчезали, прежде чем появились римляне—и казалось, это было только сегодня. Но еще раньше, когда не было хижин, в этой долине все-таки были люди. Ибо эта долина существовала все время без всяких изменений, и с геологической точки зрения все это было не дальше, как вчера, только, быть может, эти холмы были повыше и белели от снега. Темза текла, как теперь, от Котсуольдских высот и до моря. Но люди едва имели человеческий образ: они были жалки и невежественны, они были беззащитными жертвами диких зверей и потопов, бурь, и эпидемий, и непрерывного голода. Они едва могли отстоять себя от медведей, и львов, и других чудовищ прошлого. Теперь человек победил по крайней мере хоть часть этих враждебных стихий.

Дэнтон перебирал в уме эти минувшие этапы, смутно стараясь отыскать также и свое место, свое оправдание и связь с прошлым.

— Счастье нам помогло,—заговорил он.—Случай, удача. Мы выбились. Так вышло, что мы выскочили. Не нашей собственной силой. И все же... Нет, я не знаю.

Он долго молчал и потом начал снова.

— Я думаю—еще будет время. Люди существуют только двадцать тысяч лет, а жизнь существует уже двадцать миллионов лет. Что такое одно поколение? Это очень много, но мы так ничтожны. И тем не менее мы чувствуем, мыслим. Мы не бездушные атомы, мы—часть целого, по мере нашей силы и нашего хотения. Даже смерть наша—это часть целого. Мертвые или живые, мы входим в общий план мироздания. Время будет идти, и люди, быть может, станут мудрее... Мудрее... Поймут ли они когда-нибудь?

Он снова замолк. Элизабет ничего не сказала, только посмотрела ласковым взором на его задумчивое лицо.

В этот вечер мысли у нее были какие-то сонные. Она вся утопала в спокойном довольстве. И через минуту ее мягкая рука отыскала руку Дэнтон. Дэнтон тихо погладил руку Элизабет, не отрываясь глазами от широкого, затканного золотом, заката. Так они сидели, пока не спустилось вечернее солнце. Набежала сырость, и Элизабет вздрогнула от холода. Дэнтон очнулся от своих далеких мечтаний и вошел в дом достать шаль для Элизабет.

Перевел с английского

В. Г. Тан.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОГ ТВОРИТЬ
ЧУДЕСА

THE MAN WHO COULD WORK MIRACLES

Трудно сказать, была ли это врожденная способность. Я с своей стороны думаю, что она проявилась у него внезапно. До тридцати лет это был скептик, не признававший никаких чудодейственных сил. Здесь кстати будет сказать, что он был человек маленького роста; у него были темные глаза, густая щетка рыжих волос и усы, кончики которых он постоянно закручивал кверху. Лицо у него было в веснушках.

Звали его Джордж Уиртер Фотерингей — имя, вовсе не располагающее к ожиданию каких-либо чудес — и служил он писцом в конторе у Гомшотта.

У него была привычка высказывать свои мнения в категорической форме, не допускающей возражений. И вот однажды, когда он таким образом утверждал, что чудеса невозможны, он в первый раз почувствовал, что обладает сверхъестественной силой. Дело происходило в трактире „Длинный Дракон“; противником его выступил Тодди Бимиш, который на все аргументы возражал одно и то же: „Это вы так говорите“, — что положительно выводило из терпения м-ра Фотерингея.

Кроме этих двух действующих лиц, в комнате находились: какой-то сильно запыленный велосипедист, хозяин трактира Кокс и мисс Мейбридж, очень почтенная и несколько тучная служанка „Дракона“. Мисс Мейбридж стояла спиной к м-ру Фотерингею и мыла стаканы; другие смотрели на Фотерингея и более или менее потешались над бессилием его утверждений.

Раздраженный тактикой м-ра Бимиша, м-р Фотерингей решил прибегнуть к не совсем обычному риторическому приему.

— Послушайте, мистер Бимиш, — сказал он, — попробуем ясно установить, что есть чудо. Чудо противно законам естества, но оно производится особенной силою воли. Без действия воли оно не может случиться.

— Это вы так говорите, — возразил Бимиш.

Мистер Фотерингей обратился к велосипедисту, который до сих пор молча слушал спор; тот кивнул головой, потом нерешительно кашлянул и взглянул на мистера Бимиша. Хозяин отказался высказать свое мнение, и мистер Фотерингей снова обратился к Бимишу, который вдруг, совершенно неожиданно, согласился с его определением чуда.

— Например,—продолжал Фотерингей, ободренный этим согласием,—вот что было бы чудом. Эта лампа, в соответствии с законами природы, должна бы потухнуть, если ее перевернуть вверх дном. Не так ли, Бимиш?

— Это вы говорите, что потухнет,—отвечал Бимиш.

— А вы?—вскричал Фотерингей,—вы как полагаете? По вашему, что же: она может гореть, а?

— Нет,—неохотно отвечал Бимиш,—не может гореть.

— Отлично,—сказал Фотерингей,—теперь представим себе, что приходит человек,—ну, хоть бы я, например,—становится вот здесь и говорит лампе, вот как я скажу, со всею силою воли: „Повернись вверх ногами, но не разбейся—и продолжай гореть, и п... Ай! Ай!“

Да, тут всякий закричал бы: „ай, ай!“ Невозможное, невероятное свершилось на глазах у всех. Лампа висела в воздухе вверх ногами и спокойно горела, при чем острый язык пламени был обращен книзу. Это была бесспорно—лампа, прочная, прозаическая, простая лампа трактира „Длинный Дракон“.

Мистер Фотерингей стоял на месте, протянув указательный палец и наморщив брови. Велосипедист, сидевший ближе всех к лампе, вскочил и перепрыгнул за буфетную стойку. Все другие тоже отскочили в разные стороны. Мисс Майбридж обернулась и вскрикнула. Лампа оставалась в том же положении около трех секунд. Потом Фотерингей не выдержал и крикнул: „Не могу больше!“ В тот же миг, перевернутая лампа вспыхнула, грохнулась об стойку и погасла.

Хорошо, что у нее был металлический резервуар, иначе весь дом мог бы загореться. Мистер Кокс первый опомнился и заявил без лишних слов, что Фотерингей дурак. Фотерингей не в состоянии был спорить даже против такого утверждения. Он был чересчур изумлен тем, что случилось.

Последующий разговор несколько не уяснил, в чем дело; общественное мнение горячо поддерживало мистера Кокса. Все обвиняли Фотерингея и доказывали ему наперерыв, что своими дурацкими проделками он способен нарушить общий покой и безопасность. Ум самого Фотерингея был охвачен смятением, он готов был во всем согласиться с ними и очень слабо протестовал, когда ему предложили уйти домой.

Он шел по улицам разгоряченный и красный; галстук у него сбился на сторону; в глазах жгло, уши горели; он тревожно косился на каждый уличный фонарь, мимо которого ему надо было пройти.

Только очутившись наедине, в своей маленькой спальне в Черч-Роу, он мог серьезно восстановить в памяти все происшедшее и спросить себя: что же, наконец, случилось?

Он снял сюртук и сапоги и, сидя на постели, засунув руки в карманы штанов, повторял в двадцатый раз то самое, что сказал уже раньше в свою защиту: „Я вовсе не хотел, чтобы эта проклятая штука упала вниз“.

Вдруг он припомнил, что в ту самую минуту, когда он произнес свой приказ лампе, он помимо своей воли пожелал, чтобы сказанное им случилось; а потом, когда он увидел лампу в воздухе, он почувствовал, что от него зависит удержать ее в таком положении, хотя неясно понимал, как это происходит.

Ум у него был философского склада, иначе его поразило бы это: „пожелал помимо своей воли“, и он понял бы, что перед ним один из самых темных вопросов в учении о свободе воли. Но он не имел об этом понятия, и эта идея только смутно мелькнула в его уме. Он, очевидно, не мог сделать из нее никакого логического вывода и решил проверить ее опытным путем.

С решительным видом протянул он руку к свечке, и хотя опасался, что делает глупость, но мысленно сосредоточился и проговорил: „Поднимись вверх!“ Но его сомнение тотчас же исчезло. Свеча поднялась, одно мгновение провисела в воздухе, а когда м-р Фотерингей открыл рот, чтобы перевести дух, она с шумом упала на ночной столик. Стало темно; только фитиль слабо блеснул и угас.

М-р Фотерингей в темной комнате просидел минуту или две совсем тихо.

— Быть-то оно было,—проговорил он,—но как,—я, хоть убей, не понимаю.

Он тяжело вздохнул и стал шарить в карманах, отыскивая спички. Ни одной спички не находилось, и он принялся шарить рукой на ночном столике.

— Где бы это спичку найти?—сказал он.

Он поискал в сюртуке, но и там не было спичек, и тогда ему пришло в голову, что можно творить чудеса и со спичками. Он протянул руку.

— Пусть в этой руке будет спичка!—сказал он. На ладонь ему упал какой-то легкий предмет, и он сжал в пальцах спичку.

После нескольких напрасных попыток зажечь спичку об стол, Фотерингей догадался, что это шведская спичка. Он бросил ее и тут же пожалел: зачем не пожелал, чтобы спичка зажглась. Он пожелал этого и увидел, что спичка горит на коврике перед кроватью. Быстро схватил спичку, но она погасла. Вера Фотерингея в собственную силу выросла, он ошупью нашел свечу и вставил ее в подсвечник.

— Ну, теперь зажгись! — сказал Фотерингей. Свеча в ту же секунду зажглась, и при свете ее Фотерингей увидел маленькую черненькую дырочку в коврике и струйку дыма, выходящую оттуда. Он несколько секунд смотрел то на эту дырочку, то на огонек свечи и случайно встретился глазами с собственным изображением в зеркале. Он долго глядел на это изображение, — молчал и думал.

— Ну с, как ты теперь полагаешь насчет чудес? — спросил он наконец свое изображение.

Последующие размышления мистера Фотерингея были хотя и напряженные, но очень смутные. Он видел, что все дело просто в его воле. Ему не хотелось производить дальнейших опытов, по крайней мере, пока он не обдумает прежних. Однако он все-таки заставил листок бумаги подняться вверх, сделал воду в стакане сначала красною, потом зеленою; он создал также улитку и чудесным образом уничтожил ее, потом столь же чудесным образом сотворил для своей надобности новую зубную щетку.

В течение этих немногих часов он сознал тот факт, что обладает редко встречающеюся и необыкновенно активной силою воли, — факт, который он отчасти замечал и раньше, но в котором не был уверен. К неприятному чувству растерянности, вызванному обнаружением чудесной силы, примешивалась теперь гордость от сознания своего исключительного положения, — смутное предчувствие, что из этого положения можно извлечь кой-какие выгоды. Тут Фотерингей услышал, что церковные часы пробили час, и так как ему не приходило в голову, что он может чудесным образом избавиться от своей работы в конторе Гомшотта, то он снова начал раздеваться, чтобы поскорее лечь в постель.

Пока он старался стащить верхнюю рубашку через голову, ему пришла блестящая мысль.

— Пусть я буду в постели, — сказал он, — и это сделалось. — Раздетый, — прибавил он и, находя, что простыни холодны, быстро проговорил: — И в моей ночной рубашке, — нет, в хорошей, мягкой, шерстяной рубашке. — Ах! — воскликнул он с наслаждением. — А теперь пусть я спокойно засну.

Он проснулся в обычное время и, сидя за завтраком, все думал о том же самом; его мучило сомнение, не были ли все его вчерашние опыты просто слишком отчетливым сном. Наконец он решился опять сделать несколько осторожных опытов.

Так, например, он съел за завтраком три яйца: два из них подали ему хозяйка, — это были хорошие, но дешевые яйца; третье же было прекрасное, свежее, гусиное яйцо, которое Фотерингей добыл, сварил и подал себе с помощью своей силы воли. Он поспешил в контору Гомшотта в состоянии глубокого, но тщательно скрываемого возбуждения и вспомнил о скорлупе третьего яйца только вечером, когда об этом заговорила хозяйка. Целый день не мог он работать вследствие сознания своей новой силы, но это не причинило ему никаких неудобств, потому что вся его работа была чудесно окончена в последние десять минут.

К концу дня он перешел от сомнения к гордости, хотя ему все-таки неприятно было вспоминать разные подробности истории в „Длинном Драконе“, тем более, что искаженный рассказ об этом происшествии уже успел дойти до его товарищей и вызвал не мало шуток с их стороны. Очевидно, ему следовало быть осторожным с хрупкими вещами, но вообще, чем больше он думал о своем даре, тем больше выгодных сторон он находил в нем.

Между прочим, он решил увеличить свою частную собственность, незаметно создавая для себя разные вещицы. Он создал себе пару великолепных бриллиантовых запонок, но быстро уничтожил их, когда увидел, что молодой Гомшотт проходит к своей конторке мимо него. Он боялся, что молодой Гомшотт может спросить: откуда взялись эти заправки?

Фотерингей ясно видел, что пользоваться своим даром ему следует крайне осмотрительно, но, насколько он мог себе представить, это было не труднее, чем ездить на велосипеде, а с этою трудностью он уже научился справляться. Отчасти, может быть, эта мысль, отчасти сознание, что его недружелюбно примут в „Длинном Драконе“, заставили его после ужина отправиться гулять по дорожке за газовым заводом, чтобы наедине проделать еще несколько чудес.

В его опытах было, пожалуй, мало оригинального: это происходило от того, что во всем, кроме силы воли, м-р Фотерингей был весьма заурядный человек.

Ему вспомнилось чудо с жезлом Моисея, но вечер был темный, и представлялось небезопасным создавать на улице крупных змей чудесного свойства. Затем он вспомнил чудо

из „Тангейзера“, — по сокращенному либретто, которое он прочитал на обороте программы филармонического концерта.

Такое чудо показалось ему необыкновенно привлекательным и безопасным. Он воткнул свою трость из очень красивого индийского дерева в дерн, окаймлявший дорожку, и приказал сухому дереву зацвести. Воздух тотчас же наполнился запахом роз; Фотерингей зажег спичку и увидел, что это прекрасное чудо совершилось на деле. Его удовольствие было нарушено шумом чьих-то шагов.

Боясь, как бы его сила не была преждевременно открыта, он поспешно приказал цветущей палке: „Назад“. Собственно он хотел сказать: „Прими свой прежний вид“, но заторопился и сказал не то.

Палка быстро отправилась в путь, и почти тотчас же раздался сердитый крик и ругательство подходившего человека.

— Какой это болван бросается ветками? — вскричал голос. — Она мне руку ушибла.

— Очень жалею, старина, — проговорил Фотерингей и тут же, заметив неудовлетворительность своего ответа, стал, по обыкновению, крутить свои усы. К нему подходил Уинч, один из трех полицейских города Иммеринга.

— Зачем вы это сделали? — спросил полицейский. — Э, да это тот самый человек, который лампу разбил в „Длинном Драконе“?

— Низачем не делал, — отвечал Фотерингей, — так себе...

— Зачем так себе? — настаивал полицейский.

— О, чорт! — вскричал м-р Фотерингей.

— Как, „чорт“? Вы разве не знаете, что палка бьет? Зачем вы это сделали, а?

В данную минуту м-р Фотерингей не мог придумать никакого иного ответа. Его молчание, повидимому, раздражало Уинча.

— Вы оскорбили полицию, молодой человек. Вот, что вы сделали.

— Видите ли, м-р Уинч, — начал Фотерингей, еще более смущенно. — Я очень жалею, что так вышло. Дело в том...

— Ну, в чем?

Он не мог ничего придумать и решил сказать правду.

— Я сделал чудо, — он старался произнести это слово небрежным тоном, но ничего не вышло.

— Сделали чу..! Э, бросьте глупости. Скажите, пожалуйста, он сделал чудо! Смех, да и только! Да ведь вы тот самый молодец, который не верит в чудеса. Нет, это опять ваши проклятые фокусы, вот это что. Но я вам скажу...

Мистеру Фотерингею не пришлось услышать, что именно хотел сказать ему м-р Уинч. Он понял, что сам себя выдал и что его драгоценная тайна станет известна всему свету. Дальше он действовал под влиянием сильного раздражения. Он быстро и сердито повернулся к полицейскому.

— Ну, — сказал он, — мне это надоело, да. Я покажу вам, какие фокусы, да! Убирайтесь ко всем чертям, в самое пекло!

И в ту же секунду Фотерингей остался один.

М-р Фотерингей не стал больше делать чудес в этот вечер и даже не посмотрел, что случилось с его зацветшей тростью. Он вернулся в город, испуганный, притихший, и тотчас же отправился прямо к себе в спальню.

— Господи! — говорил он, — какая сила необыкновенная! Я никак не думал. И хотелось бы мне знать: какое это самое „пекло“.

Он сел на кровать и стал снимать сапоги. Ему пришла в голову счастливая мысль, и он переселил полицейского Уинча из пекла в Сан-Франциско, а затем перестал нарушать естественную причинную связь явлений и спокойно лег спать. Ночью ему снился Уинч, очень сердитый.

На следующий день м-р Фотерингей услышал две интересные новости: во-первых, кто-то посадил очень красивый розовый куст против дома м-ра Гомшотта старшего, на дороге в Лэллаборо, а во-вторых, реку до самой фабрики Раулинга пройдут с неводом, чтобы выловить тело полицейского Уинча.

М-р Фотерингей был рассеян и задумчив весь день: он не творил больше чудес, только сделал еще кое-что для Уинча и, между прочим, снабдил его в Сан-Франциско квартирой и провиантом. С помощью чуда Фотерингей аккуратно окончил свою работу, хотя в голове у него мысли так и мелькали. Многие заметили его необыкновенную рассеянность и смеялись над ним. Но он почти все время думал об Уинче.

В воскресенье вечером Фотерингей пошел в церковь — и, странное дело, м-р Мэйдиг, который до некоторой степени интересовался оккультизмом, сказал в этот день проповедь „о сверхъестественных силах“.

М-р Фотерингей вообще редко посещал церковь, но его система категорического скептицизма, о которой мы уже упоминали выше, была теперь в значительной степени поколеблена. Проповедь бросала совершенно новый свет на его вновь открытую способность, и он решил тотчас же после службы сходить посоветоваться с м-ром Мэйдигом. Как только Фотерингей принял это решение, он стал удивляться, почему не подумал об этом раньше.

М-р Мэйдиг, худощавый, нервный человек, с очень длинными руками и такой же шеей, был очень польщен желанием м-ра Фотерингея иметь с ним частный разговор. Этот молодой человек, как было известно всему городу, — вообще весьма небрежно относился к религии.

Сделав несколько последних распоряжений, м-р Мэйдиг вышел из церкви и повел Фотерингея в священнический дом. В кабинете м-р Мэйдиг усадил Фотерингея поудобнее, стал перед весело пылавшим камином, — от его ног легла длинная тень на противоположную стену, — и попросил м-ра Фотерингея изложить свое дело.

Сначала м-р Фотерингей был несколько смущен и не знал, как приступить к предмету.

— Вы, пожалуй, не поверите, м-р Мэйдиг, я очень боюсь, — бормотал он, запинаясь. Наконец он решился предложить вопрос: что м-р Мэйдиг думает о чудесах?

М-р Мэйдиг начал очень рассудительным тоном.

— Видите ли...

Но м-р Фотерингей прервал его.

— Вы, пожалуй, не поверите, м-р Мэйдиг, что у какого-нибудь простого человека в роде меня может появиться особенная сила и что такой человек вдруг станет способным одною только волей выделять разные штуки.

— Это возможно, — сказал м-р Мэйдиг, — что-нибудь в таком роде весьма возможно.

— Если вы мне позволите распоряжаться, я вам это покажу на деле, — сказал м-р Фотерингей.

— Вот посмотрите на этот ящик с табаком, который стоит на столе. Я хочу знать, считается ли чудом то, что я с ним сейчас сделаю. Подождите, пожалуйста, полминутки, м-р Мэйдиг.

Фотерингей наморщил брови, протянул руку к табачному ящику и проговорил: „Сделайся вазой с фиалками“.

Табачный ящик тотчас же исполнил приказ.

М-р Мэйдиг вздрогнул. Он перевел свой взгляд с цветов на чудотворца и потом обратно, но не сказал ни слова. Потом он нерешительно нагнулся над столом и понюхал фиалки; они были совсем свежие и прекрасно пахли. После того он снова пристально посмотрел на м-ра Фотерингея.

— Как вы это сделали? — спросил он.

М-р Фотерингей покрутил усы.

— Я просто приказал. — оно и сделалось... Что это такое, — чудо, или черная магия, или еще что-нибудь? И как вы думаете, при чем тут я? Вот это именно мне и хотелось бы знать.

— Это необыкновенно странное явление!

— А с неделю тому назад я совсем и не знал, что могу все это делать. На меня это вдруг нашло. Тут, должно быть, главное — моя воля, а больше — я ничего не понимаю.

— А вы можете проделать что-нибудь другое, кроме этого?

— О, господи! — вскричал Фотерингей. — Да что угодно! — Он подумал немного и вдруг вспомнил один фокус, который когда-то видел. — Смотрите! — Он протянул руку: — Обернись в вазу с рыбой, — не то, ухи не надо! — в стеклянную вазу с водой и золотыми рыбками... Вот так! Видите, м-р Мэйдиг?

— Это удивительно! Это невероятно! Вы или самый необыкновенный...

— Я могу превратить это во что угодно, — сказал м-р Фотерингей. — Во что угодно. Смотрите! Сделайся голубем, слышишь?

Миг, — и сизый голубь летал по комнате, и м-р Мэйдиг наклонял голову всякий раз, как тот пролетал около него.

— Остановись, слышишь? — сказал м-р Фотерингей — и голубь неподвижно повис в воздухе. — Я могу превратить его обратно в вазу с цветами, — сказал он — и, поместив голубя на стол, произвел это чудо.

— Вам, пожалуй, скоро захочется курить, — заметил затем Фотерингей и превратил вазу обратно в ящик с табаком.

М-р Мэйдиг все так же молча следил за всеми этими превращениями. Он пристально посмотрел на м-ра Фотерингея, осторожно приподнял табачный ящик, оглядел его и снова поставил на стол. — Так! — проговорил он и ничем больше не выразил своих чувств.

— Теперь мне легче будет рассказать, зачем я пришел, — сказал м-р Фотерингей. Он подробно, хотя и довольно запутанно, описал свои удивительные опыты, начиная с лампы в „Длинном Драконе“ и постоянно возвращаясь к происшествию с м-ром Уинчем. Незаметно испарилась гордость, вызванная в Фотерингее изумлением мистера Мэйдига, чудотворец стал опять тем же обыкновенным м-ром Фотерингеем со всеми его обычными манерами.

М-р Мэйдиг слушал внимательно, держа в руках табачный ящик, и выражение лица его также изменялось во время рассказа Фотерингея. Когда м-р Фотерингей стал рассказывать чудо с гусиным яйцом, священник перебил его, замахав протянутой рукой.

— Возможно, — сказал он, — вполне возможно. Это, конечно, удивительно, но это разрешает много запутанных трудностей. Сила творить чудеса есть дар, особенное свойство, такое же

свойство, как гений или ясновидение; поэтому она встречается очень редко и лишь у исключительных людей. Но в этом случае... Я всегда удивлялся, как могли делать чудеса Магомет, и индейские факиры, и г-жа Блаватская. Но теперь все ясно! Это просто особый дар.

— И это служит прекрасной иллюстрацией к рассуждениям великого мыслителя,—м-р Мэйдиг понизил голос,—его светлости герцога Аргайльского. Мы стоим здесь перед глубоким законом, более глубоким, чем все обыкновенные законы природы... Продолжайте, продолжайте.

М-р Фотерингей принялся рассказывать свою неприятную историю с Уинчем: в это время м-р Мэйдиг уже отделился от излишнего почтения, получил способность двигать руками и ногами, и по временам прерывал Фотерингея.

— Это меня всего больше беспокоит,—продолжал м-р Фотерингей,—и за этим-то я и пришел к вам. Положим, теперь он в Сан-Франциско,—я даже не знаю, где именно этот Сан-Франциско,—но, видите, все это довольно неудобно для нас обоих. Уинч, конечно, и понять не может, что случилось, но я уверен, что он сердится страшно и думает, пожалуй, о том, как бы отплатить мне.

— Я уверен, что он все время пробует уехать оттуда. Часа через два—через три я опять вспоминаю об этом и отсылаю его обратно помощью чуда. Он этого тоже не может понять, и это ему, конечно, не нравится. И ежели он еще всякий раз берет билет, то это должно ему стоить кучу денег.

— Я делаю все, что могу, для него, но, конечно, ему трудно войти в мое положение. Например, я подумал что, может быть, у него платье обгорело,—если только правду говорят насчет „пекла“. Из-за этого его могли бы арестовать в Сан-Франциско. И я распорядился, чтобы у него в ту же минуту явилось новое платье. Вот видите какая путаница.

М-р Мэйдиг принял серьезный вид.

— Да, путаница. Затруднительная история...—Он не нашел, что сказать дальше, и остановился.—Впрочем, оставим пока Уинча в стороне,—начал он снова,—и обсудим более важный вопрос. Я не думаю, чтобы это была черная магия или что-нибудь в таком роде... Я не думаю, чтобы в этом было что-либо преступное, м-р Фотерингей, ни в каком случае. Если только вы не скрыли от меня ничего существенного. Нет, это чудеса, чистейшие чудеса, если можно так выразиться,—чудеса самого высшего сорта.

Мэйдиг ходил взад и вперед по ковру пред камином и размахивал руками, а м-р Фотерингей сидел, положив руки на стол, а голову на руки, и, казалось, ему было очень грустно.

— Решительно не знаю, как мне быть с Уинчем,—проговорил он.

— С вашим даром творить чудеса,—заметил мистер Мэйдиг,—с таким сильным даром, вы найдете средство уладить дело с Уинчем, будьте спокойны. Дорогой мой, вы очень важная особа, вы человек, который может удивительно много сделать. Такие вещи...

— Да, я уже придумал несколько вещей,—отвечал м-р Фотерингей.—Но они все выходят как-то неладно.—Вы видели ту вазу с рыбой, первую? И ваза не такая, и рыба не такая. Вот я и хотел кого-нибудь спросить...

— Прекрасно,—отвечал м-р Мэйдиг,—как нельзя лучше.—Он остановился и посмотрел на м-ра Фотерингея.—Дар творить чудеса по существу неограничен. Испытаем теперь же ваши силы. Действительно ли они... действительно ли они такие, как кажутся...

И вот, как это ни невероятно, но в кабинете небольшого дома, примыкающего к церкви конгрегационистов, вечером в воскресенье 10 ноября 1896 г., м-р Фотерингей, поощряемый и подстрекаемый м-ром Мэйдигом, начал творить чудеса.

Мы просим читателя обратить особенное внимание на это число. Читатель мог бы подумать и, пожалуй, уже подумал, что некоторые части этой истории неправдоподобны, и что если бы действительно случилось нечто в этом роде, то об этом тогда же было бы написано во всех газетах.

Тот случай, который мы сейчас расскажем, покажется особенно невероятным, потому, между прочим, что если бы он произошел в действительности, то читатель или читательница давно бы уже погибли насильственной, небывалой смертью.

Но ведь всякое чудо невероятно, на то оно и чудо, и в действительности читатель *был* убит насильственным и небывалым способом несколько лет тому назад. В последующем ходе нашей истории это станет вполне очевидным для каждого разумного человека. Но это еще не конец истории, это только немного больше ее половины.

В начале, чудеса, которые делал м-р Фотерингей, были робкие маленькие чудеса,—пустячные проделки с чашками и разными мелкими вещичками,—чудеса, такие же ничтожные, как, например, у теософов, но, тем не менее, сотрудник м-ра Фотерингея смотрел на эти чудеса с благоговением. М-ру Фотерингею хотелось бы лучше уладить дело с Уинчем, но м-р Мэйдиг все отвлекал его.

После того, как они проделали с дюжину таких простеньких, домашних чудес, сознание собственной силы

у них выросло, воображение их окрылилось, честолюбие расширилось.

Их первое, более серьезное предприятие было вызвано тем, что им хотелось есть, а мистрисс Минчин, домоправительница м-ра Мэйдига, оказалась неважной хозяйкой. Ужин, который она подала на стол, был так плох и так мало отвечал аппетиту двух потрудившихся чудотворцев, что м-р Мэйдиг, пригласивший гостя разделить трапезу, был очень сконфужен.

Они все-таки сели за стол, и м-р Мэйдиг стал грустно говорить о неисправности своей экономки. Тогда м-ру Фотерингею пришла в голову блестящая мысль.

— Как вы полагаете, м-р Мэйдиг, — сказал он, — это не будет дерзко с моей стороны? Я...

— Мой дорогой, м-р Фотерингей! Конечно, нет! Я никак не считаю, что это дерзко!

М-р Фотерингей поднял руку.

— Что мы закажем? — спросил он тоном щедрого хозяина, которому ничего не жаль, и по заказу м-ра Мэйдига потребовал ужин, подробно перечислив все, что должно было явиться.

— А мне, — сказал он, окинув взглядом кушанья, выбранные Мэйдигом, — больше всего по нраву, в такое позднее время, кружка портера да хороший творожник; я это для себя и закажу. Бургонское вино мне не очень подходит.

И вот, по приказу Фотерингея немедленно явились и портер, и творожник.

Они долго сидели за ужином и разговаривали, как равные — м-р Фотерингей заметил это с удивлением и восторгом — о всех чудесах, какие они еще натворят.

— А между прочим, м-р Мэйдиг, — предложил Фотерингей, — я, если угодно, мог бы помочь вам в вашей домашней жизни.

— Я не совсем понимаю, — отвечал м-р Мэйдиг, наливая себе стакан прекрасного бургонского вина волшебной марки.

М-р Фотерингей уже управлялся со вторым творожником, полученным, как и первый, из пространства.

— Да вот насчет этой мистрисс Минчин (чав, чав)... Не могу ли я (чав, чав)... сделать ее поисправнее?

М-р Мэйдиг поставил стакан на стол; на лице у него очень ясно было написано, что он сомневается.

— Она... надо вам сказать, дорогой м-р Фотерингей... очень не любит, когда вмешиваются в ее дела. И, кроме того, теперь уж больше одиннадцати, и она, наверно, легла спать. Не думаете ли вы вообще...

Обдумав эти возражения, Фотерингей сказал:

— А нельзя ли попробовать сделать это, когда она будет спать?

М-р Мэйдиг сначала воспротивился этому необычному опыту, но потом уступил. М-р Фотерингей отдал соответственный приказ, и оба чудотворца продолжали свой ужин, хотя в глубине души и были не совсем спокойны.

Впрочем, м-р Мэйдиг стал толковать о переменах, какие на следующий день произойдут с его экономкой, и говорил с таким оптимизмом, который даже Фотерингею показался несколько преувеличенным.

Вдруг наверху послышался какой-то шум. Они переглянулись с немим вопросом в глазах, и м-р Мэйдиг быстро вышел из комнаты. М-р Фотерингей слышал, как он, стоя внизу у лестницы, окликнул свою экономку и затем осторожными шагами поднялся к ней наверх.

Минуты через две священник вернулся легкой походкой; лицо у него сияло.

— Удивительно! — вскричал он, — и даже трогательно, весьма трогательно! — Он принялся шагать по ковру перед камином. — Раскаяние, самое трогательное раскаяние, высказанное сквозь щель в дверях! Бедная женщина! Какая удивительная перемена! Она встала. Она тут же встала. Она поднялась с постели, чтобы разбить бутылку водки, которая была спрятана у нее в сундуке. И созналась в этом! Но это дает нам... Это открывает перед нами, можно сказать, неограниченную перспективу. Если мы могли произвести такую удивительную перемену даже в ней...

— И по моему тоже, — сказал м-р Фотерингей, — границы нет никакой... Но что касается м-ра Уинча...

— Конечно, никакой, — подтвердил м-р Мэйдиг. И, продолжая ходить по ковру, одним движением руки он отстранил затруднительный вопрос об Уинче и высказал целый ряд удивительных предложений, которые только что пришли ему в голову.

В чем состояли эти предложения, не важно для нашей истории. Достаточно сказать, что все они дышали бесконечною благожелательностью, тою благожелательностью, которую можно назвать послеобеденною. Впрочем, вопрос об Уинче так и остался открытым. Нам, равным образом, нет надобности рассказывать, которые из этих предложений м-ра Мэйдига были выполнены. Заметим только, что произошли удивительные перемены.

В полуночные часы м-р Мэйдиг и м-р Фотерингей, не замечая холода, бродили по рыночной площади, при свете

луны, в каком-то экстазе чудотворства; м-р Мэйдиг размахивал длинными руками, а низенький Фотерингей шел гордо, не смущаясь более своим величием.

Они исправили всех пьяниц в своем избирательном округе, превратили все пиво и весь спирт в воду (м-р Мэйдиг в этом вопросе заставил подчиниться м-ра Фотерингея); затем, они значительно улучшили местное железнодорожное сообщение, осушили Флиндерское болото, удобрили почву на „Холме с Деревом“ и свели бородавку, которая была на носу у викария. После этого они стали обсуждать, что бы такое сделать с подгнившим устоем Южного Моста.

— Наш город, — восклицал м-р Мэйдиг, — будет завтра неузнаваем. Как все будут удивлены и благодарны нам!

В эту самую минуту церковные часы пробили три.

— Вот так штука! — вскричал м-р Фотерингей, — уже три часа! Мне надо идти домой. Я должен быть на службе в восемь часов. Кроме того, мистрисс Уиммс...

— Мы только начинаем, — возразил м-р Мэйдиг, совсем увлеченный первым упоением неограниченного могущества. — Мы начинаем. Подумайте, сколько мы сделаем добра. Когда люди проснутся...

— Но... — начал м-р Фотерингей.

М-р Мэйдиг быстро схватил его за руку. Глаза его сверкали, как у безумного.

— Милый мой, — сказал он, — вам нечего торопиться. Смотрите! — он указал на луну, стоявшую в зените. — Иисус Навин!

— Иисус Навин? — переспросил м-р Фотерингей.

— Да, Иисус Навин, — повторил м-р Мэйдиг. — Почему бы нет? Остановите ее!

М-р Фотерингей посмотрел на луну.

— Это уж чересчур, — проговорил он после минутного молчания.

— Отчего? — сказал Мэйдиг. — Впрочем, не ее надо остановить. Остановите вращение земли, понимаете? Тогда и время остановится. Этим мы никому не сделаем вреда.

— Гм! — произнес м-р Фотерингей. — Ладно! — Он вздохнул. — Я попробую. Ну, вот...

Он застегнул пальто и обратился к обитаемому нами земному шару со всею верою в свою силу, на какую только был способен. — Перестань вертеться, слышишь! — сказал м-р Фотерингей.

В то же мгновение он полетел кувырком со скоростью многих десятков миль в минуту. Несмотря на бесчисленное

множество кругов, которые он описывал в каждую секунду, он продолжал думать; мысль вообще странная вещь: иногда она течет медленно, как вязкая смола, а иногда мчится с быстротою молнии.

Фотерингей думал одну секунду — и затем пожелал: „Пусть я опущусь на землю целым и невредимым. Что бы ни случилось, только бы мне опуститься вниз без всякого вреда“.

Он как раз во время пожелал этого, так как его одежды, разогретые быстрым полетом по воздуху, уже начали дымиться. Он спустился быстро, но, впрочем, не ушибся, так как упал на большую кучу только что взрытой земли.

Какая-то тяжелая постройка из камня и металла, очень похожая на башню с часами, стоявшую среди рыночной площади, грянулась на землю около него, отскочила, и, как от разорвавшейся бомбы, во все стороны полетели куски камня, кирпича и цемента.

Корова, прилетевшая сюда же, столкнулась с одним из самых крупных обломков и разбилась об него, как яйцо о камень.

Раздался оглушительный грохот, такой страшный, что в сравнении с ним все случавшиеся на земле взрывы были как шелест пыли, оседающей на стекло. Потом последовал ряд раскатов более слабых.

Гроза бушевала с такой силой, что Фотерингей с трудом мог поднять голову, чтоб осмотреться кругом. Несколько времени он не мог перевести дух и не мог сообразить, что случилось. Его первым движением было ощупать себе голову, чтобы попробовать, — уж не сорвал ли ветер волосы с черепа?

— Господи! — вскричал м-р Фотерингей, с трудом открывая рот, — такая была ужасная буря. — Я что-то не так сделал! Что случилось? Какая буря и гром! А минуту назад была чудесная погода. Это Мэйдиг подучил меня. Что за ветер! Если я буду еще делать такие глупости, со мной наверно случится несчастье.

— Мэйдиг, где вы?

— Какая кутерьма!

Он осмотрелся кругом, насколько ему позволяло пальто, завернувшееся на голову. Действительно, у всех вещей был вид чрезвычайно странный.

— Небо все-таки на месте, — проговорил м-р Фотерингей, — только оно одно осталось без перемен. Но даже и небо смотрит так, будто сейчас грянет буря еще страшнее. А вот и луна над головой. Совсем так, как была прежде. Светло, как в полдень. Но все остальное... Где город? Где...

где все? И от чего поднялся этот ветер? Я не заказывал ветра...

М-р Фотерингей попробовал встать на ноги, но тотчас же упал—да так и остался на четвереньках, стараясь удержаться хоть в этом положении. Повернувшись спиной к ветру, он смотрел на залитый лунным светом мир, а полы пальто развевались у него над головой.

— Что-то серьезно испортилось, — сказал м-р Фотерингей, — а что именно, бог его знает!

Ни вблизи, ни вдали — ничего нельзя было разглядеть; в белом сиянии луны, сквозь облака пыли, которую поднимала завывающая буря, виднелись только валившиеся глыбы земли и груды обломков; не было ни домов, ни деревьев, никаких предметов, привычных для глаз, ничего, кроме хаоса, который терялся вдали, среди смерчей и вихрей, в громе и молнии все усиливающейся бури. Совсем рядом зловеющий свет падал на нечто, что было когда-то вязом, а теперь представлялось вздрагивающей грудой щепок; подальше, куча железных перекладин, скрученных вместе (по всей вероятности, остатки водопровода), торчала из беспорядочно наваленных обломков.

Все дело было в том, что когда м-р Фотерингей остановил вращение земли, он ни слова не сказал о том, чтобы остановились разные предметы, находящиеся на ее поверхности. Между тем земля вертится так быстро, что поверхность ее около экватора проходит более тысячи миль в час, а в наших широтах — около пятисот миль в час.

Таким образом, весь город, и м-р Мэйдиг, и м-р Фотерингей, и все остальное, вследствие остановки движения земли, полетели вперед с быстротой девяти миль в секунду, — т. е. быстрее, чем если бы ими выстрелили из пушки.

И все люди, все живые существа, все дома, все деревья, весь видимый нами мир летел таким образом, разбивался и уничтожался вконец. В этом было все дело.

М-р Фотерингей не был способен оценить все это, как следует. Но он видел, что чудо его оказалось неудачным и сразу почувствовал отвращение ко всяким чудесам. Теперь вокруг него было темно: облака сгустились и закрыли месяц, в воздухе с рокотом и свистом неслись струи намерзавшего града. Страшный шум воды и ветра наполнил небо и землю. Фотерингей прикрыл глаза рукою и сквозь пыль и град увидел при свете молнии громадный вал, надвигавшийся как стена, прямо на него.

— Мэйдиг! — раздался слабый голос Фотерингея среди бушующих стихий. — Сюда! Мэйдиг!

— Стой! — закричал м-р Фотерингей приближавшейся воде, — ради бога, стой! Одну минуту, — обратился м-р Фотерингей к грому и молнии. — Остановитесь на минутку, пока я соберусь с мыслями... Ну, что же мне теперь делать? — спросил он. — Что мне делать? Господи! Если бы хоть Мэйдиг был здесь.

— Знаю, — проговорил м-р Фотерингей. — Дай бог, чтобы теперь вышло хорошо.

Он продолжал стоять на четвереньках, спиной к ветру, и думал только о том, чтобы исправить все получше.

— Ах, — сказал он. — Пусть ни один из моих приказов не исполняется, пока я не скажу: „Гоп, гоп!“ Господи, отчего это мне раньше не пришло в голову?

Он возвысил свой слабый голос и кричал все громче и громче в тщетном желании услышать самого себя среди рева бури.

— Ну вот, я начинаю. Помните, что я сейчас сказал. Во-первых, когда все, что я скажу, будет сделано, пусть я потеряю свою чудесную силу, и пусть моя воля станет такая, как у всякого другого человека, и пусть будет конец этим опасным чудесам. Мне их не надо. Лучше бы я совсем их не творил. Вот это — первое.

А второе, — пусть я стану опять такой, как был до начала чудес; пусть все будет опять такое, как было прежде, чем перевернулась эта проклятая лампа. Это — дело очень серьезное, но ведь это последнее. — Вы поняли, да? Не надо больше чудес, пусть все будет, как было, а я чтоб был в „Длинном Драконе“ за кружкой пива. Вот все! Да!

Он вцепился пальцами в землю, закрыл глаза и крикнул: „Гоп, гоп!“

Все вдруг замолкло. Он заметил, что стоит на ногах.

— Это вы так говорите, — произнес чей-то голос.

Фотерингей открыл глаза. Пред ним была стойка „Длинного Дракона“ и Тодди Бимиш. Они вели спор о чудесах.

У Фотерингея мелькнула мысль о чем-то очень важном, что он забыл, но эта мысль быстро исчезла. Вы понимаете, что если не принимать в расчет потери чудодейственных способностей, то м-р Фотерингей был совершенно в том же положении, как раньше; все стало прежним, — следовательно, его ум и память были совершенно такими же, как при начале нашей истории. Он решительно ничего не знал о том, что мы здесь рассказали, не знает и до сих пор. И, между прочим, он до сих пор не верит в чудеса.

— Я вам говорю, что настоящие чудеса никогда не бывают,—сказал он.—Толкуйте, что хотите, я готов доказать вам это, как дважды два.

— Это *вы* так говорите,—отвечал Тодди Бимиш,—но доказать этого вы не можете.

— Послушайте, м-р Бимиш,—сказал м-р Фотерингей,—попробуем ясно определить, что есть чудо. Чудо бывает противно законам естества, но оно производится особенной силою воли...

Перевела с английского

А. Н. Анненская.



СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Хрустальное яйцо	7
Звезда	27
Рассказ о каменном веке	41
Рассказ о грядущих днях	99
Человек, который мог творить чудеса	181

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА

- О. де-Бальзак — „Шагреновая кожа“.
Д. Г. Байрон — Драмы, ц. 1 р. 50 к.
„ — „Дон-Жуан“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 75 к.
Э. Верхарн — Поэмы, ц. 40 к.
П. Гальдос — „Очарованный кавальеро“, ц. 85 к.
Г. Гейне — „Путевые картины“, ч. 1-я, ц. 35 к., ч. 2-я, ц. 65 к.
В. Гете — „Фауст“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 45 к.
„ — „Страдания юного Вертера“, ц. 40 к.
„ — „Поэзия и правда“, т. I и II.
И. Гердер — „Сид“, ц. 35 к.
К. Гольдони — Комедии, т. 1-й, ц. 60 к., т. 2-й, ц. 55 к.
Т. Гоффман — „Музыкальные новеллы“, ц. 30 к.
В. Гюго — „93-й год“, ц. 1 р.
К. Гоцци — „Сказки для театра“, т. 1-й, ц. 1 р. 60 к., т. 2-й, ц. 2 р.
Э. Зола — „Западня“, ц. 80 к.
Г. Клейст — „Труд“, ц. 1 р. 80 к.
„ — Собрание сочинений, т. 1-й, ц. 1 р. 75 к., т. 2-й.
Эса де-Кэйрош — „Реликвия“, ц. 70 к.
Дж. Конрад — „Каприз Олмэйра“.
К. Лемонье — „Завод“, ц. 65 к.
„ — „Рог Призыва“.
Ляо-Чжай — „Лисьи чары“, ц. 50 к.
К. Ф. Мейер — „Новеллы“, ц. 1 р. 20 к.
П. Меримэ — „Театр Клары Газуль“, ц. 1 р. 60 к.
Марат — Письма, ц. 60 к.
Монгольские сказки — „Волшебный мертвец“, ц. 60 к.
Новалис — „Генрих фон-Офтердинген“, ц. 35 к.
Рабиндранат Тагор — Пьесы и стихотворения в прозе.
А. Ренье — „Героические мечтания Тито Басси“.
Р. Роллан — „Театр Революции“, ц. 53 к.
„ — „Трагедии веры“, ц. 1 р. 50 к.
„ — „Сергюзешт“, ц. 60 к.
Сезай — „Избранные сочинения“, ц. 1 р. 20 к.
Сем Бенелли — „Испытания любви“.
Э. Синклэр — „Пармский монастырь“, ч. I.
Стендаль — „Листья травы“, ц. 1 р.
У. Уитмэн — „Книга назиданий“, ц. 70 к.
Усама Ибн-Мункыз — Рассказы.
А. Франс — Пьесы, ц. 1 р. 50 к.
Б. Шо — Антология китайских лириков, ц. 40 к.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Г. д'Аннунцио — „Ноктюрн“, ц. 1 р.
П. Бенуа — „Атлантида“, роман, ц. 40 к.
„ — „Дорога гигантов“, ц. 75 к.
А. Боро — „Страдания толстяка“.
С. Бржозовский — „Зарево“, роман из эпохи народовольцев, ц. 1 р. 25 к.
Э. Бергстедт — „Александрсен“.
Г. Верфель — „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
К. Гамсун — „Соки земли“, роман, ц. 65 к.
Г. Гауптман — „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
П. Гзель — „Беседы А. Франса“, ц. 70 к.
О. Генри — Рассказы, ц. 1 р.
„ — „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к.
Г. Гольст — Лирические драмы, ц. 45 к.
Ж. Дюамель — „Полуночная исповедь“.
С. Лагерлев — „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
Р. Маран — „Батуала“, африканский роман, ц. 45 к.
К. Мейринк — „Голем“, роман, ц. 70 к.
М. Маркс — „Женщина“, роман, ц. 50 к.
М. Матерлинк — „Белая невеста“, пьеса, ц. 40 к.
Д. Мэйзфилд — „Пьесы“.
Папалаги — „Конченный человек“.
Папини — „Доногоо-Тонка“, кинематографический роман, ц. 25 к.
Ж. Ромэн — „Кола Бреньон“, роман, ц. 70 к.
Р. Роллан — „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к.
„ — „Клерамбо“, роман, ц. 1 р.
„ — „Аннет и Сильвия“, роман, 55 к.
Дж. Синг — „Герой“, пьеса, ц. 55 к.
Э. Синклэр — „Сто процентов“, роман, ц. 75 к.
„ — „Ад“.
Ф. Унру — „Род“, „Площадь“, пьесы, ц. 1 р. 10 к.
Г. Уэллс — „Неугасимый огонь“, роман, ц. 40 к.
А. Франс — „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к.
Л. Франк — „Человек добр“, роман, ц. 65 к.
К. Штернгейм — „Четыре новеллы“.
К. Эдими — „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
„ — „Тимур“, рассказы.
Экспрессионизм — Сборник статей, с иллюстрациями, ц. 1 р. 40 к.

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Д. Дефо — „Робинсон Крузо“, ц. 1 р.
Р. Распе — „Приключения барона Мюнхгаузена“.
М. Твэн — „Приключения Тома“.
В. Гауф — Сказки.

Цены обозначены в червонцах по курсу Госбанка.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ В СВЕТ

издаваемые „ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“ журналы:

„СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД“

книги 1-я, 2-я и 3-я.

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова,
К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.

Печатается № 4-й.

„ВОСТОК“

книги 1-я, 2-я и 3-я.

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика
И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева,
профессора Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

Печатается № 4-й.

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА:

МОСКВА, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский пер., 4.
ПЕТРОГРАД, Проспект 25-го Октября (Невский), 28.

МАГАЗИНЫ ТОРГСЕКТОРА:

В **МОСКВЕ**: 1) Советская площадь, под гост. „Дрезден“, тел. 1-28-94,
2) Моховая ул., под гост. 6. „Националь“, тел. 1-31-50, 3) Ул. Герцена
(Б. Никитская), 13, зд. Консерватории, тел. 2-64-95, 4) Никольская ул., 3,
тел. 49-51, 5) Серпуховская пл., 1—43, тел. 1-84-82, 6) Кузнецкий мост, 12,
тел. 1-01-35, 7) Лялинский пер., 11, 8) М. Харитоньевский пер., 4.

В **ПЕТРОГРАДЕ**: 1) Проспект 25-го октября (Невский), 28, 2) Улица
Володарского (Литейный пр.), 21, 3) Просп. 25-го октября (Невский), 13.